В.Ф.
РАЕВ-
СКИЙ

БП

В.Ф. РАЕВСКИЙ

Советский
писатель



БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

ОСНОВАНА М. ГОРЬКИМ

Большая серия

Второе издание

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

В. Ф. РАЕВСКИЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ

Вступительная статья
А. В. Архиповой и В. Г. Базанова
Подготовка текста и примечания
В. Г. Базанова

МОСКВА—ЛЕНИНГРАД · 1967

Р 1
Р 16

В. Ф. Раевский (1795—1872) — один из видных зачинателей декабристской поэзии, стихи которого проникнуты духом непримиримой вражды к самодержавному деспотизму и крепостническому рабству. В стихах Раевского отчетливо отразились основные этапы его жизненного пути: участие в Отечественной войне 1812 г., разработка и пропаганда декабристских взглядов, тюремное заключение, ссылка. Лучшие стихотворения поэта интересны своим суровым гражданским лиризмом, своеобразной энергией и силой выражения, о чем в 1822 г. с похвалой отозвался Пушкин. Небольшое поэтическое наследие Раевского в этом сборнике впервые представлено с исчерпывающей полнотой.

7-4-2
389-67



В. Ф. РАЕВСКИЙ И ДЕКАБРИСТСКАЯ ПОЭЗИЯ

Первая треть прошлого века — время необычайного расцвета поэтического искусства. Поэзия тех лет ставит и решает важнейшие вопросы эпохи — художественные, морально-этические, общественно-политические. И по каждому из этих вопросов она говорит свое смелое и новое слово.

Время огромного общественного подъема, ломки старых устоев и старого взгляда на мир особенно полно отразилось в поэзии. На смену рационалистическому XVIII веку с его нормативностью во всем, от планировки парков до интимных мыслей и чувств, приходит XIX век с его скептицизмом и индивидуализмом, с его верой в новые движущие силы истории.

Разумеется, переход этот не был внезапным, и последние десятилетия XVIII века были не чем иным, как подготовкой новой эпохи с новым сознанием.

Личность, индивидуальность со всей ее неповторимостью становится предметом искусства. Не должное, пусть прекрасное, идеальное, но невозможное в жизни, а реально существующее, хотя бы мрачное, гнетущее, отталкивающее, — вот что становится интересным и важным.

Рубеж двух веков — время перестройки общественного сознания — характеризуется в искусстве бурным развитием множества групп и течений, подчас острой борьбой между ними. И все-таки из многочисленных, часто исключающих друг друга течений можно вывести одну равнодействующую силу, ведущую их к отражению реально существующего мира через постижение конкретных его проявлений.

От поэзии, воспевающей общее и вечное, поэты постепенно переходят к изображению частного, индивидуального, преходящего, под-

час останавливаясь в этой своей устремленности и иногда не подозревая даже, что только через это частное можно показать нечто очень важное, многозначительное, находящееся в глубинных пластах бытия.

В лирике описание нормативных мыслей, чувств и страстей заменяется изображением души только одного человека. И на этом пути, казавшемся вначале не главным, а некоторым — даже ложным, и ожидали поэзию ее величайшие победы. Интересно, что стремление к выражению индивидуальности охватывает всех поэтов. Одни осуществляют его сознательно, другие — вопреки теоретическим установкам, но в той или иной степени делают это все.

Рассматривая поэзию декабристов, поэзию гражданского романтизма, для которой характерно обращение к высокому, общему, социально значимому, мы не можем не заметить в этой поэзии тенденции к изображению конкретного, индивидуального, что осложняет и обогащает гражданские темы, создает живой образ человека той эпохи.

Декабристская поэзия — это поэзия политическая, свободолюбивая, поэзия, отражающая мнения организации. Не случайно в своей художественной практике декабристы исходят из того, что высшим и самым значительным родом творчества является поэзия гражданская. В этом их отличие от других поэтов эпохи. Гражданские стихи писали и Вяземский, и Пушкин, и даже Жуковский; но для этих поэтов вольнолюбие — одна из возможных тем. Ценность поэзии измеряли они не только гражданской направленностью. Поэтому рылеевская формула «я не поэт, а гражданин» казалась им неприемлемой, даже просто парадоксальной.

Декабристы, конечно же, писали и элегии, и любовные стихи, но высшей, наиболее значительной и потому наиболее прекрасной считали поэзию гражданскую.[1]

Казалось бы, такое положение не ново. Эстетика классицизма также видела в оде, развивающей гражданские темы, высший, по сравнению с элегией, вид поэзии. Сходство здесь в сохранении иерархических представлений о духовных ценностях, связанных с рационализмом мышления и характерных не только для декабризма. Однако отличие декабристской поэзии от поэзии XVIII века весьма существенно. Первое, чисто внешнее отличие связано с разной трактовкой одних и тех же тем. Гражданская поэзия XVIII века была зачастую официальной, она защищала и укрепляла существующий

[1] Руководствуясь этими соображениями, В. К. Кюхельбекер предпочитает оду элегии в своей знаменитой статье «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие» (1824).

государственный порядок, несмотря на довольно грозную критику отрицательных явлений этого порядка, особенно ощутимую, например, в поэзии Державина.[1]

Гражданская поэзия декабристов, наоборот, противостояла официальным воззрениям и была направлена против существующего порядка, даже если и не содержала сильных критических выпадов (например, в некоторых «легальных» одах).

Но есть, конечно, еще более глубокое отличие декабристской поэзии от поэзии XVIII века, связанное с самим методом творчества, с эстетическими идеалами, с иным способом мышления, характерным для нового века.

Героем гражданской поэзии может быть теперь не только полководец, вождь, святой, вообще государственный деятель, а обыкновенный человек, высоких постов не занимающий и к ним не стремящийся. Мир такого человека — достойная тема поэзии. Героем декабристской поэзии становится современник поэта, его друг, сам поэт или лицо, в какой-то степени находящееся в оппозиции. С традиционной точки зрения, это не герои, достойные прославления. С точки зрения романтической эстетики — интересен мир каждого человека. Поэтому декабристы столько пишут о собственных гражданских чувствах, причем лирическое «я» автора как бы становится героем произведения.

Таким образом, декабристская поэзия в какой-то мере синтезировала рационалистические представления классицизма о высоком и низком в искусстве с представлениями сентиментализма и романтизма о значительности частного, конкретного, индивидуального.

Собственно декабристская литература, в том числе и поэзия, охватывает период около десяти лет. Она возникает после 1815 года и развивается до 14 декабря 1825 года. Произведения, созданные поэтами-декабристами в тюрьмах, на каторге и в ссылке, или повторяют старые мотивы, или переосмысляют их в связи с веяниями нового времени. В эти годы созревает талант А. А. Бестужева и А. И. Одоевского, к этому же периоду относится и бóльшая часть произведений В. К. Кюхельбекера.

Однако если говорить об активной роли декабристов в общественной жизни, об их влиянии на литературный процесс, то следует иметь в виду прежде всего десятилетие 1816—1825 годов, в течение

---

[1] Особое положение в литературе XVIII века занимает творчество Радищева, проникнутое непримиримой враждой к самодержавно-крепостническому строю. В этом отношении Радищев — ближайший предшественник и идейный родоначальник декабристов.

которого декабристская поэзия, как и вся русская литература, претерпевает бурную эволюцию. В ее развитии на протяжении этого периода отчетливо выделяются две стадии: приблизительно с 1816—1817 до 1820 года (первый этап) и с 1820 по 1825 год (второй этап).

Поэзия первого этапа создавалась такими деятелями декабристского движения, как уже вполне сложившиеся, зрелые мастера: П. А. Катенин и Ф. Н. Глинка, как примыкавший к декабризму П. А. Вяземский. И конечно же, исключительная роль в формировании гражданской поэзии нового типа принадлежала Пушкину.

В эти же годы развивается и поэтическое творчество Владимира Федосеевича Раевского (1795—1872), стоящего несколько особняком, как бы на грани двух периодов.

Будучи ровесником таких литераторов второго этапа декабристской поэзии, как Рылеев, Бестужев, Кюхельбекер, Раевский быстрее и раньше оформился и созрел как политический деятель. Раньше оборвалась и его революционная деятельность. Поэтическое творчество Раевского, находясь в неразрывной связи с его агитационно-пропагандистской работой, относится хронологически почти целиком к первому периоду. В то же время Раевский обращается к темам, вскоре получившим более углубленную разработку в творчестве таких поэтов, как Рылеев и Кюхельбекер.

Раевский занимает особое место в декабристской поэзии еще и потому, что, в отличие от Федора Глинки, Катенина, Рылеева и Кюхельбекера, постоянно сотрудничавших в журналах и альманахах 20-х годов, принимавших самое непосредственное участие в литературном движении эпохи, он как поэт был почти неизвестен. Свои стихи и прозаические сочинения он писал для немногих, для ближайших друзей, и почти не выступал в печати. При жизни Раевского всего несколько стихотворений увидело свет: «Послание Н. С. Ахматову», «Князю А. И. Горчакову», «Подражание Горацию», «Бесплодная любовь», «Песнь невольника», «Картина бури» и некоторые другие. Стихи эти, не отличаясь оригинальностью, почти не выходили за рамки обычной элегической поэзии, хотя они все же не были ниже среднего уровня журнальных стихотворений.

Обозревая рукописное наследие Раевского, мы приходим к заключению о большой требовательности поэта. Судя по его работе над стихами и многочисленным поправкам, можно с уверенностью сказать, что не одни цензурные условия удерживали Раевского от печатания. Его не удовлетворяли стихи, написанные как дань литературной моде, как упражнения начинающего. Он добивался воплощения в поэзии своего мировоззрения борца, общественного деятеля. Для того чтобы найти это новое слово в поэзии, нужно было

упорно работать, а жизнь, каждодневные занятия не давали передышки, и из-под пера Раевского лишь изредка выливались стихи, вполне достойные его. Таковы некоторые из его посланий, сатиры и сатирические элегии. Лучшие стихотворения Раевский написал в Тираспольской крепости, — это знаменитое послание «К друзьям в Кишинев» и «Певец в темнице». Наряду с вольнолюбивыми стихотворениями Пушкина, Рылеева и других революционных поэтов, его «тюремные» стихотворения распространялись в списках и в конечном итоге составили «золотой фонд» декабристской потаенной литературы. Поэзия не была для Раевского лишь увлечением молодости. Он продолжал писать и в сибирской ссылке, но до нас дошли лишь те немногие его произведения, которые он, по-видимому, желал сохранить в семейном архиве как исповедь декабриста, как обращение к потомству. Это — «Послание к К. . . .ву», «Предсмертная дума», «Дума» и послание к дочери («Мой милый друг, твой час пробил. . .»).

Поэтическое творчество Раевского, как говорилось, носит в основном незавершенный характер. Оно отмечено печатью упорных поисков, экспериментов, подражаний. Те проблемы, которые поэт затронул в своих стихах, получили художественно более убедительную трактовку в творчестве поэтов-декабристов второго призыва. И тем не менее стихотворное наследие Раевского — примечательный литературный и общественный документ, интересный прежде всего тем, что он запечатлел в себе личность человека с необычной биографией и судьбой. Исследователь декабризма П. Е. Щеголев назвал Раевского «первым декабристом», ибо он первый принял на себя удар наступавшей реакции. В то время, когда поэт уже стал жертвой политического доноса, был насильственно вырван из жизни, томился в тюрьмах, декабристское движение еще набирало силу, приближаясь к своему апогею. Стихи Раевского тем и любопытны, что в них отразились настроения пострадавшего декабриста в условиях нарастания революционно-освободительного движения.

С другой стороны, в тесной связи творчества «первого декабриста» с его биографией по-своему преломилось характерное для литературы того времени стремление выразить личность в своеобразии ее индивидуального облика. Всем этим и определяется место и значение стихов Раевского в декабристской поэзии.

Совсем недавно о поэтическом наследии Раевского судили исключительно по стихам, написанным в Тираспольской крепости (они были опубликованы в 1890 году), и по тем немногим стихотворениям, которые относятся к периоду сибирской ссылки. В настоящее время наши представления о творчестве Раевского значительно расшири-

лись. То, что сейчас мы можем предложить вниманию читателя — целый сборник стихотворений, — является результатом разысканий советских историков и литературоведов, время от времени публиковавших и комментировавших произведения поэта-декабриста.

1

Накануне 1812 года семнадцатилетний Раевский, сын курского помещика средней руки, был выпущен из кадетского корпуса Дворянского полка. Раевский принимал непосредственное участие в войне с Наполеоном и за отвагу, проявленную в Бородинском сражении, был награжден золотою шпагою с надписью: «За храбрость».

Отечественная война 1812 года и заграничные походы были для Раевского, как и для многих других будущих декабристов, прекрасной школой политического воспитания. Русский народ, в 1812 году отстоявший свою независимость и спасший родину от иноземного порабощения, после победы над наполеоновской Францией снова попал под палки помещиков, получил вместо наград военные поселения. Впоследствии, из ссылки, в письме к сестре Вере (1868) Раевский вспоминал о России времен Аракчеева: «Армия, избалованная победами и славою, вместо обещанных наград и льгот, подчинилась неслыханному угнетению. Военные поселения, начальники такие, как Рот, Шварц, Желтухин и десятки других, — забивали солдат под палками; крепостной гнет крестьян продолжался, боевых офицеров вытесняли из службы... усиленное взыскание недоимок, увеличившихся войною, строгость цензуры, новые наборы рекрут и проч. и проч. — производили глухой ропот... Власть Аракчеева, ссылка Сперанского, неуважение знаменитых генералов и таких сановников, как Мордвинов, Трощинский, сильно встревожили, волновали людей, которые ожидали обновления, улучшения, благоденствия, исцеления ран своего отечества... И вот причины, которые заставили нас высказаться так решительно и безбоязненно: дело шло о будущности России, об оживлении, спасении в настоящем».[1]

Раевский рано вступил на путь политической борьбы. Еще в 1816 году, служа в Каменец-Подольске, он был членом политического офицерского кружка и в знак «священной» дружбы носил особое железное кольцо — символ политического союза. Кроме Раевского железные кольца носили адъютант корпусного командира Горчакова штабс-капитан Приклонский, подполковник Кисловский, отстав-

---

[1] «Русская старина», 1902, № 3, с. 601—602.

ной штабс-капитан Губин, губернский доктор Диммер. Трудно судить из-за отсутствия материала о практической деятельности этой офицерской артели, но в нашем распоряжении послания Раевского к Приклонскому и Кисловскому, которые свидетельствуют о том, что в Каменец-Подольске существовал кружок молодых вольнодумцев.

Не выдержав аракчеевского режима, Раевский 30 января 1817 года уходит в отставку, подобно ряду других офицеров, настроенных вольнолюбиво и оппозиционно. Однако отставка Раевского продолжалась недолго. В июле 1818 года он снова вернулся в армию, сначала служил в 32-м егерском пехотном полку в Бессарабии, затем в Малороссийском кирасирском полку. Раевский возвращается в армию, чтобы бороться с аракчеевскими порядками. В 1820 году в Тульчине он был принят капитаном Комаровым, старым товарищем по кадетскому корпусу, в члены Союза Благоденствия. «В Тульчине, — писал Раевский в записках, — находилась главная квартира 2-й армии... у меня было много знакомых, товарищей по университетскому благородному пансиону. В главной квартире было шумно, боевые офицеры еще служили... Аракчеев не успел еще придавить или задушить привычных гуманных и свободных митингов офицерских. Насмешки, толки, желания, надежды... не считались подозрительными и опасными...»[1]

К этому времени созревают политические взгляды Раевского. В тайное общество он вступает сложившимся человеком и убежденным борцом, что позволяет ему сразу начать активную деятельность.

1820 год можно считать во многих отношениях переломным. Хотя ликвидация Союза Благоденствия формально происходит позднее, а революционные Южное и Северное общества возникают в 1821 и 1822 годах, именно с 1820 года начинается новая фаза в развитии декабризма. Для этого было несколько причин и международных и внутренних. К первым следует отнести ряд европейских революций и восстаний, происшедших в 1820 году (в январе началась революция в Испании, в июне восстал Неаполь, в августе началась португальская революция). Вести о них не могли не будоражить умы русских вольнолюбцев. В то же время в России к 1820 году вызревают элементы революционной ситуации. 1820 год был «рекордным» по количеству затяжных крестьянских волнений.[2] В том же году происходит восстание Семеновского полка, которое производит

---

[1] П. Е. Щеголев, Декабристы, Л., 1926, с. 17.

[2] См.: М. В. Нечкина, Движение декабристов, т. 1, М., 1955, с. 272—279; И. И. Игнатович, Крестьянские волнения первой четверти XIX в. («Вопросы истории», 1950, № 9).

необычайно сильное впечатление. Более откровенный характер начинает носить правительственная реакция. В частности, высылка Пушкина на юг воспринимается всеми как событие политического характера.

Намечается дифференциация среди декабристов. В 1820 году состоялось петербургское совещание членов Союза Благоденствия, участники которого единогласно голосуют за республику как будущую форму правления в России. Но после этого съезда происходит раскол. Умеренные отходят от движения, революционеры продолжают его уже на новом этапе. Больший демократизм характеризует деятельность декабристов второго периода.

Время перелома в развитии декабризма совпадает с кишиневским периодом в жизни Раевского — периодом необычайно интересным. Кишинев, куда осенью 1820 года съехались Орлов, Пушкин, Раевский и Охотников, являлся одним из центров революционного движения на юге России. С конца 1820 года тревожная обстановка в Кишиневе обострилась столь очевидно, что, по словам хорошо осведомленного подполковника Ф. П. Радченко, следовало в то время ожидать «не пришествия турок, но внутреннего мятежа».[1] Пробуждению революционных настроений в Кишиневе способствовали вспыхнувшее в 1820 году восстание гетеристов и национально-освободительная борьба за освобождение Греции от турецкого ига. Кишиневские декабристы лично общались с греческими «вольнолюбивыми патриотами». «Восторг умов, — по словам Пушкина, — дошел до высшей степени».[2] Пушкин собирался покинуть «благословенную Бессарабию» и присоединиться к восставшим. В апрельском послании В. Л. Давыдову он приветствовал греческих повстанцев и одновременно выражал надежду на революцию в России:

...Мы счастьем насладимся,
Кровавой чашей причастимся.

В бессарабской группе декабристов Раевский играл выдающуюся роль. Он вместе с Михаилом Орловым фактически возглавлял филиал тайного общества. Надо учесть, что Раевский проявил себя как декабрист в эпоху Союза Спасения и Союза Благоденствия и сразу же после ликвидации последнего, в 1821 году и в самом начале 1822 года, когда ни в Петербурге, ни в Тульчине не было со-

---

[1] Цит. по кн.: В. Базанов, Декабристы в Кишиневе (М. Ф. Орлов и В. Ф. Раевский), Кишинев, 1951, с. 51.

[2] Письмо к В. Л. Давыдову (?) от марта 1821 г. — А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений в десяти томах, т. 10, М., 1958, с. 22.

здано взамен распущенного прежнего Союза нового политического декабристского центра.

1821 год в Бессарабии — одна из интереснейших страниц в истории декабристского движения на юге России. В Тульчине передовая офицерская молодежь объединялась вокруг Пестеля, в Кишиневе — вокруг Орлова. Пестель бывал в Кишиневе и, конечно, общался с кишиневскими декабристами. Дом Михаила Орлова, командира 16-й дивизии, популярного генерала и авторитетного общественного деятеля, был превращен в своеобразный политический клуб. Реакционер Ф. Ф. Вигель в своих мемуарах называет по фамилиям тех, кто посещал этот дом и разделял воззрения его хозяина. «Два демагога, два изувера — адъютант Охотников и майор Раевский, — говорит Вигель, — с жаром витийствовали. Тут был и Липранди.. На беду попался тут и Пушкин, которого сама судьба совала в среду недовольных». [1]

В январе 1821 года кишиневские декабристы послали на московский съезд Орлова и Охотникова. Орлов, требовавший на съезде от общества решительных действий, не встретил поддержки. Союз Благоденствия был распущен. Однако южные последователи Орлова, среди которых видное место занимал Раевский, не прекратили своей деятельности. В бумагах Раевского, отобранных при аресте, обнаружены наброски публицистических сочинений и стихотворения, тесно связанные по темам и настроению с этой публицистикой. Раевский был автором записок «О рабстве крестьян» и «О солдате». В первом из этих документов Раевский выступает резким противником крепостного права. «Откуда взят этот закон торговать, менять, проигрывать, дарить и тиранить подобных себе человеков?» — спрашивает он. Раевский с гордостью говорит о наших «свободных предках» и с ненавистью — о современных помещиках, которые «вспоены слезами и кровавым потом своих подданных». Крепостное право подлежит уничтожению. «Какое позорище для каждого патриота видеть вериги, наложенные на народ правом смутных обстоятельств и своекорыстия. Зло слишком очевидно, чтобы самый недальновидный зритель не постигал его». Раевский понимает необходимость революционного вмешательства: «Граждане! тут не слабые меры нужны, но решительность и внезапный удар!»

На заметку «О рабстве крестьян» оказало несомненное влияние «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева. И цепь рассуждений, и система доказательств, и идеализация прежней свободы, и вся фразеология этого документа (например, характеристика русского

---

[1] Ф. Ф. Вигель, Записки, ч. 6, М., 1892, с. 115.

помещика), и, главное, революционные выводы сближают трактат Раевского со знаменитой книгой Радищева.

Декабристские взгляды Раевского сказались и в его рассуждении «О солдате». Внимание, которое Раевский уделяет положению солдат, стремление изменить это положение типичны для офицера-революционера, делающего основную ставку на выступление вооруженных войск.

Демократизм взглядов Раевского сказывается не только в его публицистике, но и в практической деятельности. Раевский — один из немногих декабристов, который вел непосредственную пропагандистскую работу среди солдат при помощи занятий по методе взаимного обучения. Содержание этих занятий, пронизанное вольнолюбивым декабристским духом, и навлекло на Раевского подозрения, приведшие к слежке.

6 февраля 1822 года Раевский был арестован в Кишиневе, а через 10 дней переправлен в Тираспольскую крепость и заточен в самую крепкую и изолированную камеру. У него были отобраны перья, чернила и бумага, был учрежден строгий внутренний и наружный караул. «Но сколько ни силен был сей приказ, — говорит Ф. П. Радченко, современник и участник кишиневских событий, — он не ослабил души его, несчастье или этот удар самовластья не только не повредили слабому его здоровью, но через неделю он совершенно успокоился, и самые стражи удивлялись тому равнодушию, с которым смотрел он на меры злодейской власти... Я видел майора Раевского после 14-месячного заточения, он столь же покоен и равнодушен, как был в минуты своего счастья... Надо было видеть, с какою твердостью все время боролся Раевский против своего утеснителя, против Комиссии и ложных свидетелей». [1]

Многочисленные факты, свидетельства современников, ответы Раевского на вопросные пункты членов Военно-судной комиссии, его «Протест» и «Дополнение к „Протесту“» говорят о мужестве и несгибаемости Раевского, благодаря чему арест декабриста не повлек за собой других арестов, и ни Орлов, ни другие его единомышленники не пострадали в этот период.

Характер Раевского, его целеустремленность и железная воля, его вера в свое дело, его твердость и надежды на скорую революцию в России отражены в стихах, которые поэт-декабрист писал, находясь в заточении, и переправлял друзьям на волю. Сидя в одиночной камере тюрьмы, Раевский никак не осознавал себя побежденным,

---

[1] Цит. по кн.: В. Г. Базанов, Декабристы в Кишиневе (М. Ф. Орлов и В. Ф. Раевский), Кишинев, 1951, с. 69.

а борьбу свою законченной. Он продолжал свое дело поэта-агитатора, и его стихотворные обращения к друзьям-единомышленникам полны наставлений и призывов.

Среди адресатов тюремных посланий Раевского первое место, несомненно, занимает Пушкин. История общения Раевского и Пушкина — интереснейшая страница в биографии обоих поэтов. Раевский познакомился со ссыльным Пушкиным в Кишиневе. Между ними происходили частые встречи, постоянные разговоры и горячие споры. «Здесь не было карт и танцев, — рассказывал в своих воспоминаниях И. П. Липранди, — а шла иногда очень шумная беседа, спор, и всегда о чем-либо дельном, в особенности у Пушкина с Раевским, и этот последний, по моему мнению, очень много способствовал к подстреканию Пушкина заняться положительнее историей и в особенности географией. Я тем более убеждаюсь в этом, что Пушкин неоднократно после таких споров на другой или на третий день брал у меня книги, касавшиеся до предмета, о котором шла речь. Пушкин как вспыльчив ни был, но часто выслушивал от Раевского под веселую руку обоих довольно резкие выражения — и далеко не обижался, а, напротив, казалось, искал выслушивать бойкую речь Раевского». [1]

Раевский был резок в выражениях, но Пушкин всегда спокойно выслушивал его «бойкую речь». Пылкий Раевский и не менее пылкий Пушкин нашли общий язык. Они даже сочиняли вместе стихи (памфлетную песню о Мальбруке, посвященную смерти полковника Адамова, командира учебного батальона при штабе 2-й армии). [2]

Характер кишиневских бесед и споров запечатлен в незаконченном прозаическом сочинении Раевского «Вечер в Кишиневе». Там речь идет о стихотворении Пушкина «Наполеон на Эльбе», которое в 1822 году было перепечатано в «Собрании образцовых сочинений и переводов в стихах». Раннее лицейское стихотворение Пушкина вызывает строго-критическое отношение Раевского, которого не удовлетворяют прежде всего неточность языка, романтические преувеличения и вольности. Вероятно, Раевского не устраивала и данная в стихотворении трактовка образа Наполеона, о котором сам декабрист отзывался с большим уважением (об этом свидетельствуют грамматические таблицы, составленные им для ланкастерской школы). Споры о Наполеоне не нашли непосредственного отражения в незаконченном «Вечере в Кишиневе», но, вполне вероятно, происходили в действительности. Смерть Наполеона (16 июля 1821 года)

---

[1] И. П. Липранди, Воспоминания. — «Русский архив», 1866, вып. 9, стлб. 1255—1256.

[2] Текст песни не сохранился. Свидетельство об этом факте см. в «Воспоминаниях» И. П. Липранди.

была предметом оживленных диспутов и размышлений, и стихотворение Пушкина «На смерть Наполеона», написанное в это время, содержит уже иную оценку бывшего императора и полководца, нежели «Наполеон на Эльбе». Новая оценка Наполеона, надо думать, соответствовала воззрениям Раевского.

Наивно думать, что в спорах с Пушкиным Раевский всегда выходил победителем. Пушкин прислушивался к Раевскому, дорожил его мнением, но можно не сомневаться, что и Раевский дорожил мнением своего собеседника: диспуты обогащали того и другого.

Пушкин в это время был охвачен общим настроением кишиневских декабристов и в какой-то мере являлся соучастником их общих замыслов. Именно поэтому, вспоминая о друзьях, живущих «еще в полусвободной доле», заточенный Раевский думает прежде всего о Пушкине, его огромном поэтическом таланте, его способности продолжить дело революционной поэзии и передает ему свой «лавр».

Кишиневские декабристы не могли осуществить своих намерений. «Решительный и внезапный удар», о котором мечтал Раевский, не был превращен в действие. Победили не Орлов и Раевский, а аракчеевские генералы Сабанеев и Вахтен. В итоге декабристское бессарабское гнездо было уничтожено, солдатское движение подавлено, Орлов смещен с должности дивизионного командира, Раевский, как главный вольнодумец в армии, арестован.

За четыре года до восстания на Сенатской площади в деятельности Орлова и Раевского проявилось основное противоречие дворянской революционности. При всем желании поднять солдат 16-й дивизии на восстание и опереться на их штыки в первом акте борьбы Орлов и Раевский были и оставались далекими от народа, политическими романтиками, а их попытка противопоставить одну дивизию, хотя и орловскую, вооруженному российскому самодержавию была утопичной. Они пережили декабристскую трагедию за несколько лет до 14 декабря 1825 года. И все же их опыт не прошел бесследно. Не случайно Пестель в своих показаниях признавался: «Ежели бы действительно мы нашлись в готовности и в необходимости начать возмутительные действия, то я полагал нужным освободить из-под ареста майора Раевского, находившегося тогда в Тирасполе в корпусной квартире генерала Сабанеева».[1] Пестеля и Раевского объединяла не личная дружба (они если и встречались, то один или два раза, когда Пестель был проездом в Кишиневе), а политическая позиция, вера в революцию.

[1] «Восстание декабристов», т. 4, М. — Л., 1927, с. 192.

Свыше пяти лет Раевский находился в одиночном заключении, его бросали из крепости в крепость, над ним произвели четыре военно-судных дела, его судили в трех разных комиссиях. В 1826 году, находясь в крепости Замостье и давая ответы судьям, Раевский с гордостью говорил: «Если патриотизм преступление — я преступник! Пусть члены суда подпишут мне самый ужасный приговор — я подпишу приговор... Под именем патриотизма подразумеваю я любовь к своему отечеству, основанную на своих обязанностях!» [1] 15 октября 1827 года он спокойно выслушал приговор Николая I: «Лиша чинов, заслуженных им... и дворянского достоинства, удалить, как вредного в обществе человека, в Сибирь на поселение». [2]

Сосланный на поселение в село Олонки Иркутской губернии, Раевский свыше сорока лет прожил в Сибири. В конце 1829 года он женился на местной олонской крестьянке Евдокии Моисеевне Середкиной. Жизнь ссыльного декабриста протекала в напряженной борьбе за существование, в постоянном труде: он занимался хлебопашеством, огородничеством, разводил парники, где выращивал арбузы и дыни, купил мельницу, завел лошадей, работал от крестьянского общества на поставке чая и вина.

В Олонках Раевский открыл постоянную школу, в которой обучались крестьянские дети. В одном из писем к Г. С. Батенькову он назвал себя «олонским крестьянином». Из декабристов Раевский, пожалуй, ближе всего сошелся с простым народом. Оглядываясь на пройденный путь, Раевский писал в письме к Батенькову от 25 июля 1861 года: «Я помню, когда я был призван в комитет 1826 года. После моих ответов на вопросы великий князь Михаил Павлович спросил у меня: «Где вы учились?» Я ответил: «В Московском Унив<ерситетском> благородном пансионе». — «Вот что я говорил... эти университеты. Эти пансионы!» Я вспыхнул. Мне было только 30 лет. «Ваше Вы<сочест>во, Пугачев не учился ни в пансионе, ни в университете...» Настоящие события доказывают, что для правительства всегда Пугачев опаснее Пестеля и Рылеева». [3]

Раевский до самых последних дней своей жизни сохранил кипучую энергию и постоянный интерес к насущным политическим проблемам. В 60-х годах он обрушивался на «куликообразных либералов». В письме к тому же Батенькову от 6 октября 1860 года

---

[1] Цит. по кн.: В. Г. Базанов, В. Ф. Раевский. Новые материалы, Л. — М., 1949, с. 126.

[2] «Русская старина», 1873, № 3, с. 377—378.

[3] «Ученые записки Ульяновского государственного педагогического института. Пушкинский юбилейный сборник», Ульяновск, 1949, с. 308.

Раевский писал о современном состоянии России: «Относительно настоящего и будущности России, я с сожалением смотрю на все. Сначала я с жадностью читал журнальные статьи, но наконец уразумел, что все эти вопросы, гласность, советы, стремления, новые принципы, прогресс, даже комитеты — игра в меледу. Государство, где существуют привилегированные и исключительные касты и личности выше законов, где частицы власти суть сила и произвол без контроля и ответственности, где законы практикуются только над сословием или стадом людей, доведенных до скотоподобия, там не гомеопатические средства необходимы. В наше время освобождение крестьян было ближе к делу. Прежде всего следует крепостному рабу возвратить человеческие права, а потом толковать о поземельном праве или о наделении землею. Человек, не имеющий права быть свидетелем против господина, у которого жена и дети, и сам он, и все его имущество принадлежит по праву помещику, человек, которого господин имеет право отдать в солдаты, сослать в Сибирь, даже засечь без посторонних свидетелей, этот человек — человек ли? Конечно, он доведен уже до бессмыслия, скотоподобия, одеревенения и не чувствует своего несчастного и безвыходного положения. Тем более что положение казенных, или государственных, крестьян ничем не лучше в настоящее время крепостного состояния».[1] Таким образом, Раевский остается сторонником революционных мер, когда говорит о бесполезности «гомеопатических средств», и романтиком, когда уповает на «человеческие права», которые следует возвратить крестьянину в первую очередь, а поземельное право, «наделение крестьян землею» представляется ему уже делом вторым. Верность прежним взглядам и убеждениям, сознание того, что декабристы находились на правильном пути, характерны для Раевского. В письме старому кишиневскому приятелю А. Ф. Вельтману Раевский писал (3 февраля 1864 года): «Мы по непременному закону оставляем в наследство идею для руководства новому поколению, и эта идея растет, будет и должна расти, и никакие препятствия не сожмут ее».[2]

Жизнь Раевского в Сибири была полна бедствий и превратностей. Получив отказ А. Х. Бенкендорфа на прошение «перевести на службу с канцелярским званием», Раевский около октября 1840 года писал графу П. Д. Киселеву, министру государственных имуществ и

---

[1] «Ученые записки Ульяновского государственного педагогического института. Пушкинский юбилейный сборник», Ульяновск, 1949, с. 304.

[2] Там же, с. 313.

бывшему начальнику 2-й армии, с прежней откровенностью и резкостью: «Третий год, как я страдаю изнурительной болезнью без надежды к исцелению. После утраты так давно всех общественных и наружных достоинств для меня, собственно, нет уже ни почестей, ни вознаграждений, но я имею четырех детей: двух дочерей и двух сыновей от 9 до 2-летнего возраста. Я женился здесь, в Сибири. Ни жена, ни дети не могли разделить давно прошедшей вины моей. Но с отказом графа Бенкендорфа я вижу в облитом сердце кровью, что они должны разделить со мною при жизни и получить в наследство: мою сентенцию и титул ссыльного. Мне жить недолго, и хотя сыновья мои еще не в ревизии, но со смертью моей переход от этого сословия жене моей с детьми будет невозможен. . .» [1]

Только в 1856 году особым манифестом царя декабристам было разрешено возвратиться в европейскую Россию. Но немногие к тому времени уцелели из них. В 1858 году, после шестилетнего тюремного заключения и тридцатилетней ссылки, Раевский совершил путешествие в Россию, побывал в Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде, встретился с прежними кишиневскими друзьями (Вельтманом, Горчаковым, Липранди), посетил Курскую губернию, где жили его сестры и братья. После этого Раевский прожил еще четырнадцать лет и умер в Сибири 8 июля 1872 года.

2

Первые свои стихотворения Раевский сочинял на дорогах войны 1812 года. Такова «Песнь воинов перед сражением». Это патриотическая ода, являющаяся как бы ответом «Певцу во стане русских воинов» Жуковского. Основная цель песни состоит в патриотическом назидании:

Мила за родину могила,
Без родины поносно жить! . .
. . .Друзья! В пылу огней сраженья
Обет наш: «Пасть иль победить!»

Раевский, подобно Жуковскому, воспевает прежние победы русского народа, но в противоположность «певцу во стане русских воинов» будущий декабрист ничего не говорит о царе Александре I, он славит Кутузова.

---

[1] «Литературное наследство», т. 60 («Декабристы-литераторы»), ч. 2, кн. 1, М., 1956, с. 150.

Время формирования Раевского — это период 1816—1820 годов, характеризующийся подъемом вольнолюбивых настроений, усилением оппозиционного отношения к правительству при отсутствии, однако, подлинной революционности: в декабристское движение оказались втянутыми широкие круги либерально настроенного дворянства.

Поэты, создававшие в эти годы вольнолюбивые произведения и заложившие основы декабристской поэзии, не отличались единством эстетических установок. У них были различные литературные симпатии и учителя. И благодаря этому они, объективно делая общее дело и решая сходные проблемы, не осознавали себя подчас представителями одного литературного лагеря.

В гражданской поэзии этих лет особенно ощутима связь с метафизическими представлениями XVIII века и рационалистическими установками просвещения. Традиционное деление на высокое и низкое, общее и частное является живой эстетической нормой литературы 1810-х годов. Десять — пятнадцать лет спустя подобные взгляды кажутся уже архаичными.

Рационалистический подход к поэзии в 1810-е годы закреплен и декларирован в теоретических документах декабристов, в частности в Уставе Союза Благоденствия («Зеленой книге»). В трактовке вопросов искусства, данной в «Зеленой книге», обращает на себя внимание постоянное подчеркивание и выделение нескольких основных положений: 1) декабристы утверждают примат мысли, идейного и нравственного содержания над красотой и изяществом выражения; 2) «изящное» в литературе и искусстве понимается ими как «полезное»; 3) цель искусства — воспитание достойных людей, «состоящее не в изнеживании чувств, но в укреплении, благородствовании и возвышении нравственного существа нашего»,[1] иными словами, воспитание личности цельной, деятельной, чуждой раздвоенности, слабости и праздной мечтательности.

Во всех этих положениях гораздо больше от эстетических представлений классицизма, чем от романтической эстетики, а декабрист-

---

[1] «Избранные социально-политические и философские произведения декабристов», т. 1, М., 1951, с. 271. Интересно сравнить с этим заметку А. Бестужева «О романтическом характере». В ней критик резко выступает против распространения литературы, воспевающей мечтательность, чувствительность, тоску и страдания. Такая литература вредит воспитанию молодежи, так как не знакомит ее с жизнью, вызывает неправильные представления о долге и истинных добродетелях человека, расслабляет характер и делает его непригодным к настоящей житейской борьбе (см. «Соревнователь просвещения и благотворения», 1821, № 6, с. 294—298; статья подписана: Алекс. Бес. . . .въ).

ский идеал личности, чуждой всяких противоречий, выглядел ещё довольно абстрактным.

В своих толкованиях вопросов искусства авторы «Зеленой книги» исходили из того, чем располагала русская вольнолюбивая поэзия. Опыт гражданских произведений XVIII и начала XIX века несомненно ими учитывался. В то же время декларации устава стали программой для всех поэтов — членов тайного общества. Именно в соответствии с этими установками создавали свои гражданские произведения П. А. Катенин и Ф. Н. Глинка.

Декабристские гражданские стихотворения 1817—1820 годов характеризуются тираноборческими настроениями, выраженными иносказательно. Поэтам-декабристам необходимы исторические декорации. Они не прямо пишут о современности, а изображают иные эпохи, в которых стараются подчеркнуть общее с современностью. При этом и изображаемая эпоха, и герои, и их идеалы рисуются весьма абстрактно.

Таковы «Опыты двух трагических явлений» Ф. Глинки, напечатанные в 1817 году в «Сыне отечества». Этот отрывок, «не принадлежащий ни к какому целому», как отметил Ф. Глинка в специальном примечании, предельно абстрактен и в то же время предельно аллюзионен. Никаких указаний на место и время действия здесь нет. Но изображение страждущей отчизны, покоренной тираном, воздвигшим «свой железный престол» на «выях согбенных под гнетом рабов», безошибочно связывалось в представлении читателей с современностью, с положением в России. Изображая политических заговорщиков, призывающих к борьбе за свободу отчизны, Глинка создает образы идеальных героев, не знающих сомнений и колебаний, одержимых одной страстью — любовью к родине и свободе.

Если положительным героям чужды всякие противоречия, то тиран показан как человек, полный противоречивых чувств, сломленный бременем страстей. Изображение человека как раба страстей в декабристской поэзии обычно характеризует отрицательного героя. Таковы позднее Тимофан в «Аргивянах» Кюхельбекера, Святополк, Самозванец, Мазепа у Рылеева и другие. Положительный же герой подавляет все колебания и страсти. Таков Катон, изображенный в «Отрывках из „Фарсалии“» (1817) Ф. Глинки. Сближение образа Катона с русскими тираноборцами подчеркивается еще и тем, что Катон, далеко не уверенный в своей победе над Цезарем, считает тем не менее борьбу с ним неизбежной.

Сходные мотивы звучат и в вольнолюбивых произведениях Катенина этой поры. В 1818 году в «Сыне отечества» напечатал он «Отрывок из Корнелева „Цинны“», который представлял собой

революционное, антимонархическое произведение. Отрывок является вольным переводом монолога Цинны из 1-го действия трагедии Корнеля. Катенину, как и Глинке, понадобились определенные декорации для выражения своих политических настроений. По сравнению с Глинкой Катенин более тщательно воссоздает в своем произведении исторический колорит, стремясь следовать не столько оригиналу, сколько духу любимой им античности. При всем том аллюзионность отрывка была несомненной. Однако на современников, надо думать, наибольшее впечатление произвели не отдельные намеки, большинству непонятные,[1] а самый тираноборческий пафос «Рассказа Цинны». Заговор против императора здесь представлен как дело законное и даже добродетельное, так как монарх привел страну и народ к неисчислимым страданиям.

«Рассказ Цинны» Катенина, так же как и глинковские «Опыты трагических явлений» и «Отрывки из „Фарсалии“», — типичный пример гражданской поэзии раннего декабризма.

Слог их возвышен и декламационен, словарь и фразеология в большой степени традиционны и условны. Авторский голос, который должен был бы придать произведениям особую индивидуальную окраску, приглушен. В них к тому же явно преобладает драматическое начало.

Даже обращаясь к лирическим жанрам, Катенин создает произведения, полные обобщенных деклараций и звучащие, при всей их политической смелости, отвлеченно. Таковы строки из не дошедшего до нас целиком знаменитого гимна «Отечество наше страдает...» (1816—1818). Он близок по духу народным гимнам эпохи французской революции и не прикреплен к конкретному месту и времени.

Предельная обобщенность катенинского гимна особенно отчетливо выступает, если сравнить его с таким лирическим произведением, как послание «К Чаадаеву» Пушкина (1818). Здесь поэт не только скорбит о страданиях отечества, не только призывает к борьбе за свободу, не только верит в победу над тираном (все это есть и у Катенина) — он создает конкретный образ человека своей эпохи с при-

---

[1] Злободневный политический смысл этих аллюзий раскрыт современными исследователями творчества Катенина. Под Августом подразумевался Александр I (кстати, эта аналогия была довольно распространенной), Цинна и его друзья-заговорщики, решающие убить императора во время жертвоприношения в Капитолии, — это члены Союза Спасения, разрабатывающие план цареубийства (по одному из вариантов, Александра намечали убить во время богослужения в Архангельском соборе). См.: В. Н. Орлов, Павел Катенин. — П. А. Катенин, Стихотворения, «Б-ка поэта» (М. с.), Л., 1954, с. 12—13.

сущими ему сомнениями, порывами и надеждами. Такое слияние вольнолюбивых помыслов и раздумий с личными настроениями и переживаниями героя было в тот период недоступно другим поэтам.

Обращаясь же к традиционным, чисто лирическим жанрам (элегия, послание, романс и т. п.), поэты-декабристы обычно не затрагивали гражданских политических мотивов. Они изображали картины природы, раннее увядание героя, его неудовлетворенность жизнью, грусть и тоску. Таково большинство лирических стихотворений Ф. Глинки этого периода. Герой этих стихотворений проповедует довольство малым, утверждает, что истинному счастью противопоказаны роскошь, блеск губительной славы и т. п. Поэт утверждает,

Что доля мирная, что тихий уголок
Надежней и верней, чем горды те вершины,
Где часто падают под бурей исполины.

(«Фиалки и дубы»)

В таком же духе его стихотворения «Мотылек», «Осенняя грусть», «К снегирю», «Дитя и птичка», «К соловью в клетке» и многие другие.

Не только образ героя и идеалы автора в этих стихотворениях отличны от гражданских произведений Глинки. Вся система изобразительных средств, весь стиль их иные. Здесь и свойственное карамзинистской поэзии изображение чувств на фоне природы, и традиционные для той же поэзии образы (мотылек, фиалка, соловей, «прелестна Хлоя», которая «без затей легко одета»), и вся система изобразительных средств (сизый сумрак, серебряный поток, роза пышная, море наслажденья, нектар забвенья, милый голос Филомелы, тихое сияние луны, бедная хата, шалаш укромный и т. д. и т. п.).

Таким образом, четкому разделению на темы, жанры и стили в поэзии 1810-х годов соответствовал тот или иной тип героя.

Однако некоторые поэты уже в эпоху раннего декабризма идут к сближению интимно-лирических и гражданских, публицистических тем и жанров. Особенно интересны в этом плане произведения Вяземского и молодого Пушкина.

Вяземский, подобно другим поэтам раннего декабризма, в большинстве своих стихотворений выдерживает четкое разделение тем, жанров и стилей. Но в его творчестве этой поры появляется стремление создать интимное лирическое произведение, в котором политические вольнолюбивые настроения сочетаются с изображением личных переживаний автора. Такова элегия «Уныние» (1819), которую Пушкин считал лучшим стихотворением Вяземского.

«Уныние» — во многом типичная элегия карамзинской школы. И прославление уныния как лучшего человеческого чувства, и скорбь об «угасшей младости», и рассуждения о тщете славы, призрачности счастья и т. п. связывают элегию Вяземского с подобными произведениями Жуковского и его учеников. Однако «Уныние» — стихотворение гражданское. Герой его не смиряется под бременем невзгод и разочарований, не уповает на чистые радости любви, природы и искусства, не отказывается от житейской борьбы. Герой «Уныния» — это принципиальный и твердый человек, в чью душу «слава» вдохнула «свободную отвагу»,

Святую ненависть к бесчестному зажгла
И чистую любовь к изящному и благу,

который

Пред алтарем души в смиреньи клятву дал
Тирану быть врагом и жертве верным другом.[1]

«Уныние» не содержит более никаких выпадов против самодержавия и рабства. Оно интересно прежде всего сложным, многогранным образом лирического героя — поэта и правдолюбца.

К эпохе раннего декабризма относятся и многие политические стихотворения Пушкина. Наиболее близка произведениям декабристов, конечно, его ода «Вольность» (1817). Но в других политических стихотворениях этого периода («К Чаадаеву» — 1818, «Деревня» — 1819) Пушкин идет уже по пути широкого синтеза тем и настроений, хотя и сохраняет жанровые признаки. Герой «Деревни» при всей политической его наивности, характерной для эпохи Союза Благоденствия, — образ, который в творчестве поэтов-декабристов появляется лишь несколькими годами спустя. Пушкин, как известно, уже к началу 20-х годов использовал плодотворные возможности гражданского романтизма и перешел к новому методу, между тем как декабристы вплоть до 1826 года более подробно и обстоятельно развивали гениально намеченное Пушкиным в его ранних произведениях.

К 1816—1820 годам относится бóльшая часть написанного Раевским. Почти все его стихотворения этого периода в той или иной мере подражательны. Это еще поиски самостоятельного пути, самостоятельного голоса в поэзии. Самые первые произведения Раевского,

---

[1] Примечательно, что «изящное» понимается здесь Вяземским в соответствии с трактовкой этого понятия в «Зеленой книге».

как уже отмечалось, связаны с войной 1812 года и проникнуты патриотическим чувством. Кроме «Песни воинов перед сражением» тема войны и победы над Наполеоном отражена в «Песне» («Полно плакать и кручиниться...») и отчасти в «Послании Н. С. Ахматову». Разумеется, здесь еще нет оппозиционных настроений, а служба «родине священной» ставится наравне со службой «кроткому царю». Однако очень рано Раевский отказывается от верноподданнических настроений в поэзии. Он обращается к интимным темам, прославлению любви и дружбы, противопоставлению свободы и независимости — «славе шаткой», «блеску пустых честей», скромной жизни на лоне природы — светской суете. Темы эти трактуются в батюшковском духе. Эпикурейские мотивы в любовных стихах и дружеских посланиях чередуются с не менее традиционными меланхолическими настроениями, мотивами разочарования, усталости и уныния («Час меланхолии», «Сетование», «Меналк» и другие). Однако стихи эпикурейского звучания, несомненно, преобладают в ранней лирике Раевского. Будучи прилежным учеником «новой поэтической школы», которую современники связывали с именами Жуковского и Батюшкова, Раевский в то же время не довольствуется разработкой традиционных для этой школы тем. Собственный голос все явственнее звучит в его стихах. И связано это с размышлениями об окружающей действительности, с ростом критических настроений, с осмыслением своей роли в жизни.

Как и другие декабристы, Раевский не удовлетворяется воспеванием интимных радостей и наслаждений. Мысли о высоком, благородном призвании человека, о необходимости борьбы с существующими пороками появляются во многих его стихотворениях. Это и прославление разума, который «нас высит превыше ничтожных сует» («Ода другу»), и восхищение другом, идущим честным и прямым путем (послания к Г. С. Батенькову), и сознание своей ответственности перед людьми, необходимости служить «любви и нравственной свободе», а не предаваться беспечной жизни на лоне природы («Пришлец! здесь родина твоя!..»).

Уже в некоторых ранних стихотворениях лирический герой Раевского обогащается чертами гражданина-вольнолюбца, не приемлющего окружающую жизнь. С этим связан и мотив предчувствия своей трагической судьбы, тех испытаний и невзгод, которые неизбежны в жизни борца за справедливость. Даже любовь, воспеванию которой молодой Раевский посвятил столько прочувственных стихов, на рубеже 20-х годов становится для него лишь временным отдохновением. Поэт говорит о перенесенных страданиях. Он глубоко благодарен любимой за то счастье, которое она дала ему:

И мой разрушенный до половины челн
В цветущей пристани...

Но испытания и разлука ждут впереди:

Спи, милая моя!
С твоим пробудом ясным...
Я обниму тебя с желаньем сладострастным
До бурного судьбины дня!

Таким обращением Раевский закончил любовную элегию «К моей спящей» (1820). Строки этого произведения посвящены, казалось бы, одной цели — выразить нежное сочувствие поэта любимой женщине. Но знаменательно окончание: поэт не смеет отдаться мирным радостям, у него другая забота, его ждут труд и подвиг, он готовит себя к «бурному дню судьбины», ибо настоящая жизнь сулит суровые испытания и борьбу, она спорит с личным счастьем, и уступок ему быть не может.

Примечательно, что традиционный жанр дружеского послания у Раевского в какой-то мере также превращается в своеобразную гражданскую проповедь: «частное» поэтическое обращение приобретает значение общественного документа. Среди рукописей поэта сохранилась «Ода другу», датированная 1816 годом. На первый взгляд, это обычное дружеское послание, проникнутое эпикурейским духом. Но поэт внушает своему другу, что опасно идти на поводу личных страстей, что человек существует для иной, более высокой цели, нежели мир личных утех. Смысл жизни состоит в служении обществу и в постоянной заботе о своем нравственном совершенстве. В «Послании П. Г. Приклонскому», написанном через год, содержится резкая критика невежд и глупцов, хотя бы они и были «с титу́лом княжеским»:

Чем выше здание — тем ближе к разрушенью,
Опасен скользкий путь титу́лов и честей,
Опасны милости и дружество царей —
Кто ближе к скипетру, тот ближе к ниспаденью!

«Сословие невежд, гордящихся породой», вызывает у Раевского гордое презренье:

Презренные льстецы с коленопреклоненьем
Им строят алтари, им курят фимиам.

Раевский не жалует царей, вельмож и их льстецов, он предпочитает независимость («Лишь независимость есть мудрого черта»), он

понимает, что в современном обществе нет и не может быть равенства, но «жить для пользы ближнего» есть «сладкая мечта», и Раевский призывает своего друга идти по пути гражданской добродетели, а не ожидать «у моря погоды». В «Послании П. Г. Приклонскому» ясно обнаруживается переход от дружеского послания к философским элегиям («Элегия I», «Элегия II»), о которых речь пойдет несколько ниже.

Гражданским, патриотическим пафосом проникнуты и послания к Г. С. Батенькову. Еще в кадетском корпусе Раевский и Батеньков целые вечера проводили в «патриотических мечтаниях» и «развивали друг другу свободные мысли»,[1] как признавался Батеньков в показаниях Следственному комитету. Послания Батенькову имеют характер интимных дружеских признаний, но эта интимность особого толка. Воспоминания о 1812 годе и постоянное напоминание о тернистом пути, которым должен идти человек, избравший высокую цель в жизни, прославление дружбы и «свободной души» делают эти послания гражданскими стихотворениями. В утраченных письмах Раевского к Батенькову политические мотивы звучали, видимо, еще более открыто. Батеньков показывал на следствии: «В 1819 году, сверх чаяния, получил я три или четыре письма от Раевского. Он казался мне как бы действующим лицом в деле освобождения России и приглашал меня на сие поприще».[2] И в поэтических посланиях Раевский постоянно касался политических предметов, он приглашал Батенькова вернуться к общественной деятельности.

Спокойной, мирной судьбе своего друга Раевский противопоставлял свой путь, «твердый, каменистый», полный опасностей. В первой редакции своего послания он писал:

Ты с милой Лизою своей
Счастливей мрачных богачей...
...А я среди цветущих лет
С семейной жизнию простился,
И, подчинен законам бед,
Гонимый лютостью судьбины,
Я нем среди толпы людей.

Однако:

Природою мне данный дар
Лучом ученья озарился,
И я свободною душой

---

[1] Из признаний Следственному комитету. — М. В. Довнар-Запольский, Мемуары декабристов, Киев, 1906, с. 159—160.
[2] Там же, с. 160.

Перед могучею рукой
Еще, еще не преклонился.

В другом своем послании он спрашивал Батенькова:

Ужель свинцовый час[1]
Покрыл прошедшее невозвратимой тьмою,
Ужель он заглушил влеченья тайный глас,
Который юношей нас съединил с тобою?

И здесь же высказывалась надежда:

Но прочь сомнение, ты тот же должен быть!
Те ж чувства, чуждые и низости и лести,
И ум возвышенный, способный отличить
Талант от глупости, дым суеты от чести...

Дружеские послания Раевского в офицерской среде, в кружке единомышленников имели уже не частное, но важное общественное значение: они агитировали и убеждали, включались в общий поток декабристской литературы.

В стихах Раевского, написанных до ареста, мы, таким образом, можем проследить основные пути развития всей декабристской поэзии. С одной стороны, это разный стилистический подход к разным темам (стихи, посвященные природе, любви и наслаждениям, создаются в стиле «легкой поэзии», стихи, раскрывающие философские и гражданские темы, — в высоком, архаизированном стиле), с другой стороны, — намечающаяся к концу периода едва заметная тенденция к слиянию тем, проявившаяся прежде всего в более сложной обрисовке образа лирического героя.

3

Общий процесс сближения русской литературы с действительностью оказал глубокое воздействие на состояние декабристской поэзии уже в 1810-е годы.

Как отмечалось, в поэзии раннего декабризма образ героя — защитника справедливости и борца за свободу — был не только отодвинут от личности своего творца, но зачастую и выведен за пределы национальной истории, так что связь с нею имела чисто аллюзионный характер. Этим, в частности, объясняется абстрагированная объекти-

---

[1] Эта строка первоначально читалась так: «Беспечный друг! Ужель свинцовый час...» Раевский желал видеть в Батенькове не «беспечного друга», а политического единомышленника.

визация малых форм поэзии — широкое использование в них эпических и драматических приемов изображения (например, катенинский монолог Цинны, «Опыты трагических явлений» Ф. Глинки).

В конце 1810-х — начале 1820-х годов ситуация явно меняется. Образ положительного героя приобретает более конкретную лирическую выразительность, он явно и непосредственно преломляет в себе личность самого поэта. В то же время образ героя все чаще разрабатывается на материале национальной истории (например, «Думы» Рылеева) или современной русской жизни.

Именно последним путем пошел Раевский. От обличения абстрактного зла, деспотизма и несправедливости вообще он переходит к сокрушительной критике конкретных явлений русской действительности. Показательно для его эволюции различие между одой «Глас правды» и сатирическими произведениями конца 10-х — начала 20-х годов.

Ода Раевского, исполненная тираноборческого пафоса, близка (местами почти текстуально) рылеевской сатире «К временщику». Интересно, что произведение Рылеева Раевский впоследствии переписал из журнала «Невский зритель», намереваясь использовать его на уроках поэзии в юнкерской школе. Подобно Рылееву, автор «Гласа правды» говорит о тиране:

...Народ, цепями отягченный,
Ждет с воплем гибели твоей...

А в черновых набросках «Гласа правды» обличение деспотизма, обращение к царям и вельможам звучит совсем как в сатире «К временщику»:

Злодей, и сирых робкий стон,
И рабства гибельный закон,
И слезы страждущих в темнице,
И в рубищах народ простой,
К тебе молящий со слезой,
Не видишь ты под багряницей?..

При всем том нельзя не заметить, что стихи Раевского лишены конкретно-исторического колорита, а фигура тирана выглядит крайне условной и почти ходульной.

Иные приемы критики действительности в таких произведениях, как «Элегия I», сатира «Там далее: провинциал Минос...», стихотворение «Смеюсь и плачу» и других.

«Элегия I» представляет собой своеобразный род философско-политической медитации, наиболее характерной для творчества Ра-

евского. Поэт оплакивает безвременную смерть юного друга. К той же теме, между прочим, проявил особый интерес Жуковский. Однако элегическое стихотворение поэта-декабриста во всех отношениях противостоит меланхолическим размышлениям автора «Теона и Эсхина».

Конкретность социальных обличений, критический пафос в элегии Раевского невольно напоминают гневные монологи Чацкого в комедии Грибоедова. Герой элегии — жертва режима, окружающей среды. Возрастные характеристики в ней символичны. Юное — это новое, которое загублено старым, консервативным. Юноша противопоставлен миру, где молодым силам нет места. Он не желает быть на пиру «корысти» и «тиранства», он загублен «правительства рукою». Понятно, что ни о каком взаимном влиянии двух поэтов (Грибоедова и Раевского) говорить не приходится. Речь идет о совпадении в их произведениях и сатирических объектов, и методов критики социального зла.

Оплакивая смерть безвременно погибшего юноши, Раевский напоминает о повсеместных жертвах самодержавия:

Почто несчастных жертв струится кровь рекою
И сирых и вдовиц не умолкает стон?
Убийца покровен правительства рукою,
И суеверие, омывшися в крови,
Безвинного на казнь опасною стезею
Влечет, читая гимн смиренью и любви!

(«Элегия I»)

Куда бы поэт ни направил свой взор — везде «картина преступлений». Отсюда вывод — необходимость продолжения борьбы, отказ от домашнего затворничества, требование выхода на общественную арену.

Примером острой социальной сатиры Раевского является также отрывок «Там далее: провинциал Минос...», написанный в форме дружеского послания. Поэт обращает внимание друга на «злобу и разврат», «безумцев круг» и сонмище царедворцев «с предлинными ушами». Современное общество Раевский клеймит и в отрывке «Сатира на нравы», и в стихотворении «Смеюсь и плачу». В первом затрагивается характерная для декабристов тема борьбы за национальную самобытность:

Из всех гражданских зол — всего опасней, злей
Для духа нации есть чуждым подражанье...

Эти стихи звучат как цитата из комедии Грибоедова. В сатире «Смеюсь и плачу» Раевский, словно предваряя пламенные инвективы Чацкого, обращается ко всей официальной России, высмеивая «визирей», «пашу» «с подлою душой», «вертопраха», который

Ивана à rebours с Семеном гнет на двойку
Иль бедных поселян, отнявши у отцов,
Меняет на скворца, на пуделя иль сойку...

Он клеймит «безумцев», мракобесов, под стать Скалозубу, которые «гнетут ум» и «знать право воспрещают», весь тот порядок, при котором всегда гибли и продолжают гибнуть лучшие представители человечества.

«Элегия I», «Элегия II», «Смеюсь и плачу» и другие сатирические произведения, по всей вероятности, написаны в годы деятельности Раевского в Союзе Благоденствия и отражают влияние на его творчество этой декабристской организации. Все эти стихи были захвачены при аресте поэта и дали Следственной комиссии дополнительный материал для обвинений «первого декабриста» в преступной деятельности и недозволенном образе мыслей.

В творчестве Раевского элегия заняла видное место. Поначалу он писал элегии, не отступая от общепринятых канонов этого жанра. Традиционные названия элегий: «Свидание», «Обет», «Ропот», «Сетование», «Час меланхолии» — характеризуют поэтическое ученичество Раевского.

Интимная элегическая лирика начала XIX века противостояла официозной и дидактической поэзии. В этом смысле роль элегий была положительной для развития новых видов прогрессивной поэзии. На основе традиционной элегии выросли новые виды философской, гражданской и исторической элегии. В творчестве Раевского любовные и «унылые» элегии в духе Батюшкова постепенно были вытеснены особым родом гражданственных элегий, вобравших в себя элементы политической и философской лирики. Весьма показательна в этом отношении «Элегия II». Политические рассуждения здесь переплетаются с картинами природы. От внимания комиссии, ведущей следствие по делу арестованного Раевского, не ускользнули следующие стихи:

Свирепствуй, грозный день! .. Да страшною грозою
Промчится не в возврат невинных скорбь и стон,
Да адские дела померкнут адской тьмою...
И в бездну упадет железной злобы трон!
Да яростью стихий минутное нестройство
Устройство вечное и радость возродит! ..

Врата отверзнутся свободы и спокойства —
И добродетели луч ясный возблестит!..

Раевский объяснял написание этих строк мрачным расположением духа. Однако мятежный пафос приведенных строк был настолько разительным, что оправдания Раевского не удовлетворили следователей.[1]

Картина осенней бури в «Элегии II» явно отмечена чертами политической аллегории. В стихотворении без труда просматривается нечто большее, нежели «грозный осенний день», а именно мысль о неизбежности и закономерности социальных потрясений: «И в бездну упадет железный злобы трон». Да и вся стилистическая окраска стихотворения, типично гражданская лексика («свобода», «добродетель», «устройство», «неустройство» и т. п.) — все это составляло художественный арсенал декабристской поэзии.

Картины мирозданья, изображенные в «Элегии II», натурфилософские и космологические идеи находятся в прямой зависимости от революционно-просветительских взглядов Раевского. Он изображает вечное развитие жизни — развитие, полное борения, драматизма, вулканических сил. Прославляя человеческий разум, вечное движение материи и объективные законы природы, поэт-декабрист в то же время внушает мысль о том, что природа наградила человека свободой, но тираны похитили ее, надев на человека цепи рабства. Самодержавная власть, как темная сила, нависла над людьми, но и эта сила падет:

Светильник возгорит!.. гармония раздастся!
И в будущих веках звук стройный отразит!

Создавая свои «высокие» стихи, полные гражданских и философских идей, Раевский, подобно другим поэтам-декабристам, обращается к традициям русской поэзии XVIII века. Ломоносов, Державин, Радищев по-разному используются и учитываются в его гражданских стихах. От Ломоносова в его стихах идет тема природы, от Радищева — тема человека и человеческого разума. Державин для Раевского, как и для других поэтов-декабристов, — крупнейший гражданский лирик XVIII века, певец-обличитель. Ссылкой на обличительные мотивы в поэзии Державина Раевский даже пытался оправдать собственные сатирические стихи перед Следственной комиссией.

Вместе с тем Раевский использует и достижения старших своих современников, прежде всего Н. И. Гнедича, стихотворение которого «Перуанец к испанцу» (1805) он читал воспитанникам дивизионной

---

[1] Вопросы, заданные Раевскому Военно-судной комиссией, и его ответ — см. в примеч. 42.

ланкастерской школы. Раевский, несомненно, отправлялся от него, когда создавал свое стихотворение «Плач негра», также направленное против европейских варваров, подвергавших нещадной эксплуатации нецивилизованные народы. С Гнедичем поэзию «первого декабриста» роднит суровая, гражданственная патетика, передающая особую эмоциональную напряженность. Подобно Гнедичу, Раевский рисует «кровавые» ситуации, полные огня и мести. Вслед за нагнетением страшных, «жестоких», «свирепых» слов у Гнедича («кровь», «свирепство», «адский», «изнуряя», «окровавленная», «насильственная рука», «мщение», «подлость», «хитрость», «коварство», «мрачное смертей ужасных царство», «жесточайшая», «злодейска» и т. п.) Раевский использует подобные же приемы: «струится кровь рекою», «омывшися в крови», «кровавая стезя», «свирепствуй», «адские дела», «адская тьма», «железная злоба», «ярость стихий», «свирепый океан», «бездонная пропасть» и т. д. и т. п. Г. А. Гуковский, говоря о стихах Гнедича, справедливо отмечал: «Это была романтическая напряженность, поэзия бури и натиска, поэзия борьбы, самым стилем своим, противопоставленным спокойствию, разумной уравновешенности классицизма, выражавшая нетерпеливое стремление к разрыву уз механического рационализма, к свободному разливу человеческой «гениальности», беззаконного вдохновения». [1]

Эта характеристика относится и к стилю Раевского, и к стилю других поэтов-декабристов, например Кюхельбекера в его гражданских и «библейских» стихах начала 20-х годов. При всем том Раевский в большей степени, чем другие декабристы, поэт-рационалист, тяготеющий к поэзии дидактической. Философский и дидактический пафос приводит Раевского к фразеологии выспренней, к сложному синтаксису и архаизированной лексике, что, как уже отмечалось, не было исключением в высокой поэзии 1810-х годов. Однако шероховатость стиха, сложные периоды, длинные, затрудненные обороты речи составляют особенность поэтического стиля Раевского, стремившегося к выражению своей индивидуальности, к поискам яркого, броского слова, которое вызывало бы эмоциональный эффект, пробуждало общественное сознание. Эта борьба Раевского за обретение своего голоса была мучительной и долгой. Ученический период его творчества затянулся. Лишь впитав в себя, творчески переработав и усвоив разнообразные поэтические традиции, Раевский смог подойти к созданию стихотворений, ставших в одном ряду с лучшими достижениями революционной гражданской поэзии 1820-х годов.

---

[1] Г. А. Гуковский, Пушкин и русские романтики, М., 1965, с. 183.

4

Переход декабристской идеологии в новое качество отражается и на литературной деятельности поэтов-революционеров. Более решительная постановка многих литературных проблем — несомненное следствие обострения политической борьбы в начале 1820-х годов. В истории декабристской литературы это время характеризуется приходом целого ряда молодых поэтов, вступивших на литературное поприще в 20-е годы или незадолго перед тем. В 1820 году заявляют о себе два крупнейших поэта декабризма: Рылеев, напечатавший в октябрьском номере «Невского зрителя» сатиру «К временщику», и Кюхельбекер, выступивший 22 марта в Вольном обществе любителей российской словесности с программным стихотворением «Поэты». Именно с этого времени Рылеев и Кюхельбекер становятся на путь революционной поэзии и высоко несут ее знамя.

Ученический, подражательный период в творчестве этих поэтов-декабристов не прошел для них бесследно. Обогащенные опытом новой поэтической школы (изображение интимного настроения человека, а также достижения в области языка и стиха), они затем обращаются к проблемам, поставленным иными литературными группами, и пытаются по-своему решать их.

Принятое декабристской поэзией в эпоху ее формирования традиционное прямолинейное противопоставление частного — общественному, личного — государственному в значительной мере усложняется или снимается в поэзии зрелого декабризма.

Борьба идет как за новое содержание поэзии (активный герой, патриотический сюжет), так и за самобытную форму ее.

Образ героя декабристской поэзии 20-х годов во многом определил ее политическую направленность, ее идейное и литературное своеобразие. От гражданской поэзии XVIII века и вольнолюбивой поэзии начала XIX века декабристы восприняли образ свободолюбивого патриота — выразителя высокой мысли, одержимого одной страстью — любовью к родине или ненавистью к тирании. Такой образ — цельный и прямолинейный — характерен и для гражданских произведений раннего декабризма. Со временем образ этот меняется, делается постепенно все многограннее и конкретнее. Об этом, в частности, красноречиво свидетельствует творческий путь Рылеева. Поначалу в его думах герои даются как люди целеустремленные, страстные, одержимые одним чувством. Рогнеда одержима чувством мести, Дмитрий Донской и Иван Сусанин — любовью к родине, Волынский — свободолюбием, Наталья Долгорукова — преданностью мужу. То же характерно и для отрицательных образов. Святополк, Глин-

ский, Дмитрий Самозванец даны как рабы страстей, что характерно вообще для декабристской трактовки отрицательного героя. Однако в «Думах» Рылеева, созданных в основном в 1821—1822 годах, как и в «Опытах священной поэзии» Глинки, намечается образ героя противоречивого, сложного, характерного для романтической поэзии. Это Курбский, Борис Годунов, Мазепа.

Положительный герой декабристской поэзии — чаще всего идеализированный человек прошлого (исторические и мифологические персонажи) или идеализированный образ современника. В последнем случае он тоже изображается как высокий герой, освобожденный от частных подробностей. Таковы Мордвинов и Ермолов у Рылеева, Ермолов у Кюхельбекера и т. д. Часто таким высоким героем является образ поэта. Катенин, например, видел такого героя в лице Гомера, Софокла и легендарных певцов древности. У Рылеева это Баян и особенно Державин, а также Байрон. Высокий герой Кюхельбекера, как правило, — всегда поэт. Декабристские представления о роли поэзии, о назначении поэта, об искусстве «высоком и прекрасном», представления в равной степени романтические и просветительские, находят яркое отражение в созданных ими образах.

Поэт в стихотворениях декабристов выступает и как образ автобиографический, как лирический герой произведения, выражающий чувства и мысли автора. Этот образ также претерпевает заметную эволюцию в декабристской лирике 20-х годов. Эволюция эта очень интересна.

Лирика сентиментализма и раннего романтизма по преимуществу изображала не комплекс чувств и настроений, а отдельные чувства и настроения. Это или горечь разлуки, или страдание от измены возлюбленной, или радость любви взаимной, или тоска по отцветающей молодости и т. п. Стихотворение (элегия, послание, романс) описывает одно чувство и настроение, которое дается в традиционном плане (сходные образы, терминология, набор традиционных поэтических декораций для описания каждого чувства).

В лирике зрелого романтизма возникает изображение человека как неповторимой индивидуальности, как единство различных, часто противоречивых, чувств и страстей. В этом же направлении развивается и поэзия декабристов.

Герой в их элегиях, посланиях (жанрах не гражданских, посвященных описанию частных, интимных переживаний человека) обогащается чертами гражданского, общественного деятеля. На первых порах происходит соединение каких-то черт общественного и частного, причем соединение пока что не вполне органичное. В работе Л. Я. Гинзбург «О проблеме народности и личности в поэзии

декабристов» говорится: «В тревожной, напряженной обстановке, в атмосфере противоречий, неизбежно присущих сознанию дворянских революционеров, оторванных от народа, возникают черты по-новому понятого современного героя. Расторгнутые рационализмом сферы деятельности человека (общественный человек и частный человек) тяготеют теперь к слиянию в единство — еще метафизическое — героической, «избранной» личности революционного романтизма».[1] Это метафизическое слияние происходит уже в начале 20-х годов и проявляется в «Думах» Рылеева. Путь, которым шла декабристская поэзия к этому своеобразному синтезу, любопытен и показателен.

Индивидуализированный лирический герой возникает у поэтов гражданского романтизма раньше всего в камерных интимно-лирических жанрах, которым они не придавали существенного значения, поскольку по-прежнему видели свою цель в создании поэзии агитирующей, воспитывающей, поучающей. Показательно, что стихи, отражающие свои собственные переживания и сомнения, поэты-декабристы часто вовсе не предназначали для печати.

Стихи эти — род дневниковых записей в виде размышлений, писем, беглых зарисовок. А между тем именно этот путь, побочный, как считали декабристы, оказался чрезвычайно плодотворным для развития русской лирики. Не достигнув на этой дороге больших творческих побед, декабристская поэзия тем не менее отразила одну из важнейших закономерностей поэтического движения 1820-х годов. Интересно в этом плане проследить эволюцию образа героя в лирике крупнейших декабристских поэтов.

Так, у Кюхельбекера герой в ранних стихах условен и традиционен. В элегиях 1817—1820 годов — это унылый мечтатель, стремящийся к небесной «отчизне», оплакивающий свои жизненные разочарования и увядшую молодость («Осень», «Элегия», «Отчизна», «Ночь», «Пробуждение», «Седой волос»[2] и другие). Примерно с 1820 по 1821 год в лирике Кюхельбекера начинает преобладать иной герой — восторженный юноша, пламенный поклонник свободы, мечтающий сражаться за нее и даже погибнуть. Таким представляется он в «Греческой песне», «К Ахатесу» и в некоторых других стихотворениях, написанных за границей в 1821 году. Образ высокого муже-

---

[1] Сб. «О русском реализме XIX в. и вопросах народности в литературе», М. — Л., 1960, с. 74.

[2] Последнее стихотворение не опубликовано; оно хранится в Рукописном отделе Института русской литературы АН СССР (фонд В. К. Кюхельбекера).

ственного героя создает Кюхельбекер в посланиях Ермолову и Грибоедову, а также в трагедии «Аргивяне», над первым вариантом которой работает в 1821—1822 годах.

Понятия «поэт» и «революционер» у Кюхельбекера отождествляются. Таков образ Байрона в его оде, написанной по случаю смерти британского поэта. При некоторых формальных просчетах (стремление выдержать все приемы канонической оды, что в 1824 году было уже анахронизмом) ода «Смерть Байрона» — яркое произведение декабристской гражданской поэзии, воссоздающее образ высокого положительного героя.

Что касается лирического образа, отражающего мысли и настроения самого автора, то в стихах Кюхельбекера 1822—1824 годов он отделяется от идеального героя и в какой-то степени противопоставляется ему.

Жизненные испытания, разочарования, уже не вымышленные, как в элегиях 1817—1819 годов, а подлинные, накладывают отпечаток на образ лирического героя, которого тяготят вечные скитания, отсутствие пристанища и покоя. Его омрачают сомнения в своих силах, в значительности собственного поэтического дарования. Такого рода настроения звучат в послании Грибоедову, в «Пророчестве», «К Вяземскому».

Как известно, Кюхельбекер выступил против унылой элегии, противопоставив ей оду как жанр, способный вместить темы государственного, общенародного значения. Однако в собственной поэтической практике он от элегии не отказался. В 1823—1824 годах им написан целый лирический цикл, тематически связанный с пребыванием в имении Закуп, Смоленской губернии, у сестры.

Стихотворения эти во многом продолжают элегическую традицию. Здесь мы находим изображение природы, камерного мира, интимных чувств героя. Однако они отличны от элегических настроений раннего Кюхельбекера своей внутренней сложностью. Уютный быт дворянской усадьбы, который описывает поэт, — только временное прибежище для него. За его порогом — огромный неустроенный мир, и в этот мир должен вернуться герой Кюхельбекера, вернуться добровольно. Он не может быть здесь счастлив, у него иные мерки счастья, чем у обитателей Закупа. Это, несомненно, декабристская тема, нашедшая отклик в таких стихах Раевского, как «Пришлец! здесь родина твоя. . .».

В послании «Криштофовичу» Кюхельбекер противопоставляет себя своему успокоившемуся от жизненных тревог приятелю-домоседу (вспомним, что подобные мотивы отражены в одном из вариантов «Послания Батенькову» Раевского):

Будь счастлив, друг, в своем приюте тихом,
В объятиях подруги молодой!
А я — прости! дорога предо мной:
Не помяни меня, Евмений, лихом!
Ты в пристани, ты можешь отдохнуть
В семье своей от жизненной работы;
Прошли твои печали и заботы,
Но мой еще суров и мрачен путь!

Эта бесприютность и смятенность героя (черты, несомненно, автобиографические) подчеркнуты в его закупских элегиях.

Лирический герой Кюхельбекера, похожий на героя Раевского своей неуспокоенностью, в то же время отличен от него. Певец Кюхельбекера — человек мятущийся, ищущий места в жизни, это скиталец прежде всего. У Кюхельбекера больше, чем у других поэтов-декабристов, заметно внимание к внутренней противоречивости человеческого характера, к дисгармоничности современного человека.[1] Так корректируется созданный ранее гражданской поэзией прямолинейный образ героя, лишенный противоречий и психологической конкретности.

Более цельный образ революционного героя мы находим в лирике Рылеева. Герой его поэзии — гражданин, в лирических жанрах — поэт-гражданин. Образ этот развит в посвящении «Войнаровского» Бестужеву, в послании Бестужеву («Хоть Пушкин суд мне строгий произнес...»), в элегии «Ты посетить, мой друг, желала...» и особенно в «Гражданине».

Основная тема стихотворения — противопоставление Гражданина «изнеженным», «переродившимся славянам», влачащим «свой век младой» в «постыдной праздности». Эта тема уже намечена в «Отрывках из „Фарсалии"» Ф. Глинки, она звучит в тюремных стихах Раевского и в полемических статьях Кюхельбекера. Эта тема в «Гражданине» развита и продолжена.

В «Гражданине» нет мотивов жертвенности, обреченности, свойственных некоторым другим произведениям Рылеева. Исторический оптимизм, вера в то, что все будет так, как должно быть, характеризуют эту поэтическую прокламацию.

Образ целеустремленного и высокого героя, нарисованного с проникновенным лиризмом, не отменяется, а уточняется в интимных

---

[1] Черты рефлексии, скептицизма как нечто типичное для человека того времени изображает Кюхельбекер в незаконченном, но чрезвычайно любопытном наброске 1825 года «Меламегас». — См.: «Русская литература», 1963, № 4, с. 151—154.

элегиях Рылеева, связанных с любовной темой. Усложняя изображение человеческого чувства, показывая противоречие в душе героя, Рылеев, несомненно, исходит из своего жизненного опыта, из пережитого и перечувствованного в действительности.

Так, совершенно новое освещение получила тема любовного страдания в элегии «Ты посетить, мой друг, желала...». Мотивировка отказа от счастья, от любви говорит о большой смелости Рылеева-лирика, тесно связывающего интимные и гражданские, политические темы. Знаменитые слова:

Любовь никак нейдет на ум:
Увы! моя отчизна страждет,
Душа в волненьи тяжких дум
Теперь одной свободы жаждет —

неоднократно цитировались в подтверждение ригоризма героя, который отвергает все личное ради достижения своей высокой цели. Думается, однако, что элегия отражает более сложное состояние человека.

Во-первых, героиня далеко не безразлична герою. Он говорит о ней с нежностью и благодарностью. Ее любовь могла бы принести счастье и успокоение. Но герой отрекается от нее. Причина — «несходство характеров» — мотив, широко распространенный в позднейшей лирике, но совершенно неожиданный в элегии 20-х годов:

Полна душа твоя всегда
Одних прекрасных ощущений,
Ты бурных чувств моих чужда,
Чужда моих суровых мнений.

Прощаешь ты врагам своим,
Я не знаком с сим чувством нежным,
И оскорбителям моим
Плачу отмщеньем неизбежным.

Причина расхождения — не измена возлюбленной, не охлаждение к ней героя, а различие их взглядов на мир, то, что женщина «чужда» устремлениям героя. Вероятно, общность целей и интересов могла бы стать залогом прочной и счастливой любви. Гражданину Рылеева свойственно ожидать и от любимой женщины гражданских чувств.

Стремление к психологизму дает себя знать и в творчестве такого поэта, как Ф. Глинка, несмотря на то, что герой его лирики попрежнему остался фигурой условной, мифической. Речь идет о би-

блейских стихах Ф. Глинки начала 20-х годов — «Опытах священной поэзии», с их образом пророка как лирического героя всего цикла. Показательно, что образ этот дан в различных поворотах: грешник, мучимый сознанием своей слабости, несовершенства и одиночества, человек, начинающий постигать истину, обретший надежду, и, наконец, суровый библейский праведник,[1] образ которого Глинкой несколько переосмыслен. «Муж, иже не иде на совет нечестивых и на пути грешных не ста», превращается в борца, национального героя — «небесного гражданина»: «Он будет памятен отчизне, Благословит его народ. . .»

Изображение сложности и противоречивости душевного состояния героя показывает, что психологизм, рефлексия, свойственные позднему романтизму, проникают и в поэзию декабристов. И все-таки у декабристов акцент делается не на изображении противоречий, из которых нет выхода, а на показе того пути, по которому следует идти. Внутренний разлад, борьба с самим собой, слабости и сомнения — это, по их мнению, зло, которое не только нужно, но и можно преодолеть. Здесь и отголоски наивных рационалистических представлений прошлого о добре и зле как категориях абсолютных и не смешивающихся, здесь и исторический оптимизм, связанный с эпохой возникающей революционной ситуации, здесь и романтическое сознание своей избранности и глубокой правоты. Во всяком случае, поэзии декабристов чуждо самоцельное изображение сложной человеческой натуры, они никогда не могли бы присоединиться к словам Лермонтова: «Будет и того, что болезнь указана, а как ее излечить — это уж бог знает!» (предисловие к «Герою нашего времени»). Нет, они были убеждены, что способы исцеления будут открыты и проведены в жизнь. И хотя они вносят в поэзию свои страдания, размышления и сомнения, хотя герои их часто не просто целеустремленные люди «без страха и упрека», а образы, осложненные чертами реальных людей, — их поэзия непременно подводила итог, давала оценки, учила и направляла. Часто осознавая обреченность дела, которому

---

[1] Для Глинки, как и для других его современников (Кюхельбекера, Пушкина), пророк явился идеальным поэтом. В некоторых стихотворениях Глинка — прямой предшественник Пушкина:

Воздвигнись, мой пророк.
Ты будешь божьими устами!
Иди, разоблачай порок
В толпах, смущенных суетами:
Звучи в веках живой глагол!

(«Пророк»)

они служили, декабристы видели великий смысл в той великой жертве, которую они должны принести родине и народу, и «радостно благословляли» «свой жребий».

Если в поэзии Рылеева и Кюхельбекера индивидуализация в изображении героической личности достигалась, как мы видели, в основном посредством психологического усложнения, то другой, хотя и родственный способ конкретизации героя определился в стихах Раевского. Это путь прямого отражения в лирике своей биографии, непосредственного отклика на события и факты собственной жизни. Надо сказать, что из всех поэтов-декабристов именно у Раевского в те годы было больше всего оснований для подобных художественных откровений.

В то время как свершение героического подвига для Рылеева, Кюхельбекера, А. Бестужева и других декабристов было насущной жизненной потребностью, еще не нашедшей практического применения, у Раевского она в значительной мере реализовалась. Его революционно-пропагандистская работа в армии, арест, следствие, тюремное заключение, борьба с опаснейшим врагом, прибегавшим к угрозам, шантажу, лжесвидетельствам, — все это уже сообщило его жизни героический характер. Она приобрела высокий смысл и эстетическую значимость.

Тема высокого подвижничества, целеустремленности, выполнения своего долга, тяжелого, но неизбежного, нашла последовательное выражение в лирике Раевского начала 20-х годов. От условного героя-эпикурейца и героя-мечтателя Раевский идет к изображению человека с высокими интересами, интеллектуально развитого, не находящего в силу этого покоя и удовлетворения в жизни. Личное и общественное приходит в нем к слиянию. Человек этот способен одновременно переживать и кончину друга, и скорбь при виде существующих общественных «неустройств» («Элегия I»). Насыщение образа лирического героя реальными автобиографическими чертами приводит к его конкретизации, к большей убедительности и правдивости. По этому пути Раевский идет еще дальше в своих стихах, написанных в 1822—1824 годах в Тираспольской крепости (послание «К друзьям в Кишинев», «Певец в темнице»).

Примечательно, что в его стихотворениях появляется множество конкретных автобиографических деталей — рассказ об аресте и следствии, такие подробности, как упоминание о двух подставных свидетелях, пересказ собственных рассуждений и ответов на вопросы Военно-судной комиссии. Вместе с тем Раевский дает здесь и обобщенный образ борца, узника, который не покорился судьям, который мужественно продолжает свое дело.

Скажите от меня О<рлов>у,
Что я судьбу мою сурову
С терпеньем мраморным сносил,
Нигде себе не изменил
И в дни убийственныя жизни
Немрачен был, как день весной,
И даже мыслью и душой
Отвергнул право укоризны.

(«К друзьям в Кишинев»)

Эта самохарактеристика удивительно совпадает с характеристикой Раевского, данной Ф. П. Радченко и приводившейся выше. Упоминание Орлова также подчеркивает автобиографизм этих строк. Так конкретизирует Раевский образ своего героя, отходя от общих мест и традиционных положений, к которым он прибегал в более ранних стихах. Целеустремленность, суровость — главные черты героя Раевского, и мы не можем сомневаться в искренности и правдивости его, когда он говорит о себе:

Я неги не любил душой,
Не знал любви, как страсти нежной,
Не знал друзей, и разум мой
Встревожен мыслию мятежной.

Забавы детства презирал,
И я летел к известной цели,
Мечты мечтами истреблял,
Не зная мира и веселий.

(«Певец в темнице»)

И хотя эти строки не согласуются с признаниями ранних стихов Раевского, в которых воспевались и «нега», и «нежная страсть», и «дружба», трудно усомниться в их программном значении для поэта Раевского. Он переосмысляет здесь свой взгляд на счастье, провозглашает свой идеал героя и поэта. Он требует отказаться от легкой поэзии, эпикурейских тем, «оставить другим певцам любовь». Этот известный призыв, обращенный к Пушкину, перекликается с прозаическим отрывком Раевского «Нет, не одно честолюбие увлекает меня. . .», где сказано: «Любовь есть страсть минутная, влекущая за собой раскаяние. Но *патриотизм,* сей светильник жизни гражданской, сия *таинственная сила,* управляет мною. Могу ли видеть порабощение народа, моих сограждан, печальные ризы сынов отечества, все-

общий ропот, боязнь и слезы слабых, бурное негодование и ожесточение сильных — и не сострадать им?» [1]

Эта тема, характерная для декабристов, стала, как мы помним, центральной в элегии Рылеева «Ты посетить, мой друг, желала...».

Тюремные стихотворения Раевского и прежде всего два послания 1822 года являются в известном смысле итогом его поэтического творчества.

Тема наслаждения, радостей и утех, воспевание «дев, как май прекрасных», «вин Вакха», «сладкой неги», «душистой розы», «лазоревых небес» и т. п. присутствует в значительной степени в тюремных стихах. Однако темы эти пересмотрены. Вся эта праздничная сторона жизни воспринимается теперь как нечто эфемерное, противостоящее реальной, подлинной жизни. В послании «Друзьям в Кишинев» собственная трагическая судьба рассматривается еще как обидное и противоестественное исключение. Поэт надеется, что участь его друзей не будет омрачена, он только призывает их к деятельности, к борьбе. Однако в стихотворении «Певец в темнице» Раевский уже говорит о неизбежности и известной закономерности страданий в этом несправедливом мире. Все радости и утехи прекрасны, но они не могут дать человеку счастья, так как подлинная жизнь — это цепь мучений и несправедливостей. Единственное, что может принести счастье и наполнить жизнь высоким значительным содержанием, — это борьба за справедливость. Сам Раевский вступил на этот путь, и это дает ему право поучать своих друзей. Здесь развивается та агитационная тема декабристской поэзии, которая нашла наиболее яркое и законченное выражение в «Гражданине» Рылеева.

Увлечение национальным, народным, повышенный интерес к отечественной истории заметно сказывается в декабристской литературе уже в начале 20-х годов. Это явление, несомненно, находится в связи с отказом декабристских писателей от условного, абстрактного изображения русской действительности. Раевский — один из первых поэтов декабристского лагеря, отбросивших в своих стихах римские и прочие иноземные декорации, — был в числе убежденных ревнителей национального своеобразия и народности поэзии. По свидетельству И. П. Липранди, Раевский «утверждал, что в русской поэзии не должно приводить имена ни из мифологии, ни исторических лиц древней Греции и Рима, что у нас и то и другое — свое, и т. п.» [2] Судя по «Воспоминаниям» того же Липранди, Пушкин обратил внимание на реализацию этих положений Раевского в его «Певце в темнице». «На-

---

[1] В. Раевский, Стихотворения, «Б-ка поэта» (М. с.), Л., 1952, с. 223.

[2] «Русский архив», 1866, вып. 9, стлб. 1255—1256.

чав читать «Певца в темнице», он <Пушкин> заметил, что Раевский упорно хочет брать все из русской истории, что и тут он нашел возможность упоминать о Новгороде и Пскове, о Марфе Посаднице и Вадиме...»[1]

Конечно, особый интерес для Раевского, как и для других декабристов, представляли те эпизоды отечественной истории, в которых ярко проявлялась приверженность русских людей к свободе и народовластию. В послании «К друзьям в Кишинев» Раевский напоминает о «веке полночной славы», о «священных временах» Новгорода и Пскова, «когда гремело наше вече». Новгородская тема, возникшая еще в литературе XVIII века, была, как известно, широко использована декабристами. Причем Раевский — один из первых декабристов, воскресивших ее. Он упоминает Марфу Борецкую и Вадима, говорит о свободном вече, которое «сокрушало... царей кичливых рамена». Если в стихах Раевского, как и ранее в парижской лекции Кюхельбекера (1821), новгородская тема поставлена, но подробно не раскрыта, то в последующем творчестве революционных и вольнолюбивых поэтов тема эта подвергается значительно более обстоятельной разработке.

Замысел трагедии «Вадим» Пушкина,[2] думы Рылеева «Вадим» и «Марфа Посадница», повесть Кюхельбекера «Адо», стихотворение В. Н. Григорьева «Берега Волхова», стихотворения А. И. Одоевского, написанные уже после 1825 года, — во всех этих произведениях история вольного Новгорода и Пскова трактуется как прекрасные и великие страницы русской истории. Обращаясь к ним, Раевский приходит к печальным размышлениям о ходе русской истории, о судьбе русского народа, который он называет «немым», «дремлющим в тайном страхе» («Певец в темнице»). В другом месте Раевский говорит о «народном сне» и «дремлющей свободе». Образ спящего народа необычайно выразителен. Он — свидетельство горьких мыслей декабриста о настоящем и в то же время надежды на будущее. Народ про-

---

[1] «Русский архив», 1866, вып. 9, стлб. 1255—1256. Однако в своих ранних «анакреонтических» стихотворениях сам Раевский злоупотреблял именами из античной мифологии: «нектар благовонный», «резвые хариты», «любовь Киприды», «юная Геба», «Вакх вожатый», «брег Коциты», «Вакх пред нами», и т. п. И все же И. П. Липранди был прав. В годы знакомства и дружбы с Пушкиным (1820—1822) Раевский действительно старался в поэзию брать все «свое».

[2] Возможно, что обращение самого Пушкина к новгородской теме, замысел трагедии «Вадим», который поэт обдумывал именно в этот период, произошло не без влияния Раевского. Не только самый материал, но и трактовка его в вольнолюбивом, типично декабристском духе говорит о связи этого замысла с поэзией гражданского романтизма.

снется. Эта мысль заканчивает оба тюремных послания Раевского. Он видит новую зарю на востоке, он слышит «валкальный звон», «поколебавший подземные своды» и пробудивший народ. Речь здесь идет о начавшемся освободительном движении в Греции, получившем огромный общественный резонанс во многих европейских странах. В России тема борющейся Греции проходит через всю гражданскую поэзию начала 20-х годов и особенно подробно разрабатывается декабристами. Вольнолюбивые идеи здесь находят непосредственную связь с историческими и этнографическими интересами молодых романтиков. Раевский ставит эту тему только в плане политическом. Он видит в начавшемся движении противодействие страшным силам европейской реакции и говорит о долге, зовущем «под тень священную знамен, на поле славы боевое». Призывы участвовать в освободительной борьбе характерны и для стихотворений других декабристов (Кюхельбекера, Рылеева), связанных с греческой темой. Но Раевский, при всем своем оптимизме, вообще характерном для декабристов до 14 декабря 1825 года, все-таки прекрасно понимает и силу самовластья, и трудности борьбы с ним. Его собственная судьба — яркий тому пример.

В посланиях из Тираспольской крепости говорил человек с вполне сложившимся политическим мировоззрением, декабрист-республиканец, твердо веривший в успех революционного дела, хотя и понимавший, что народ к этому делу еще не подготовлен. Раевский не просто разоблачал существующий строй, но призывал к прямому действию, к продолжению борьбы, он выдвигал революционно-политические идеалы и указывал средства для достижения их. В то же время поэт находил суровые клеймящие слова для обличения деспотизма и крепостничества. Династию царей Раевский называет «бичей кровавый род».

Послания Раевского произвели большое впечатление на Пушкина. И. П. Липранди рассказывает в «Воспоминаниях» о чтении Пушкиным стихов Раевского и его оценке отдельных мест и образов. Пушкин проявил особый интерес к изображению народа и тирана у Раевского. «Как это хорошо, как это сильно, — говорил Пушкин, по словам Липранди, — мысль эта мне никогда не встречалась, она давно вертелась в моей голове; но это не в моем роде, это в роде Тираспольской крепости, а хорошо». На вопрос Липранди, что ему так понравилось, Пушкин, окончив чтение, повторил строки:

Как истукан, немой народ
Под игом дремлет в тайном страхе:
Над ним бичей кровавый род
И мысль и взор казнит на плахе.

«Он повторил последнюю строчку, присовокупив: — Никто не изображал так сильно тирана:

«И мысль и взор казнит на плахе».

Хорошо выражение и о династии: «Бичей кровавый род», — присовокупил он и прибавил, вздохнув: „После таких стихов не скоро же увидим этого спартанца“». [1]

Одновременно с восторженным отношением к стихам, обличающим тиранию, Пушкин высказал много критических замечаний, отметив, что наряду с отдельными смелыми образами в целом «стихи нехороши, а притом это не ново» (речь шла о темах любовных, эпикурейских в посланиях Раевского). Пушкин видел, что Раевский находится в поисках нового, «гражданского» стиля, — он добивается энергии стиха, вводя смелые и даже рискованные образы, подчас не решаясь еще порвать с устаревшими традициями и штампами. Оттого он и оказался более удачливым в отрывках, в отдельных поэтических речениях, чем в целых стихотворениях. Найдя себя в политической лирике, Раевский не смог развернуть до конца своего дарования. Стихи его интересны как опыт предрылеевской декабристской поэзии.

Пушкин очень удачно назвал Раевского спартанцем; спартанцем Раевский был также и в стихах, которые поражают своей суровой мужественной интонацией убежденного и смелого бойца.

Тираспольские послания Раевского через Пушкина стали известны и другим кишиневским друзьям поэта-узника. Пушкин, например, читал «Певца в темнице» поручику Таушеву, который состоял в кишиневской тайной организации и был предан Раевскому. Интересное свидетельство о широкой распространенности тюремных стихов Раевского находим мы в рукописной тетради Кюхельбекера 1824—1825 годов. Кюхельбекер, живший в эти годы в Москве и Петербурге, наряду с другими выписками из интересовавших его сочинений переписывает близкие ему по духу стихи: [2]

Оставь другим певцам любовь!
Любовь ли петь, где брызжет кровь,
Где племя чуждое с улыбкой
Терзает нас кровавой пыткой,
Где слово, мысль, невольный взор
Влекут как явный заговор,
Как преступление на плаху

---

[1] Цит. по статье М. А. Цявловского «Стихотворения Пушкина, обращенные к В. Ф. Раевскому». — «Временник пушкинской комиссии», т. 6, М.—Л., 1941, с. 46—47.

[2] Рукописный отдел Института русской литературы АН СССР (фонд В. К. Кюхельбекера).

И где народ, подвластный страху,
Не смеет шепотом роптать!

Пушкин, размышлявший над теми же вопросами, которые поставлены в посланиях Раевского, решил ответить поэту-узнику. Первый набросок ответа обрывается начальными строками: «Недаром ты ко мне воззвал Из глубины глухой темницы». Затем Пушкин сделал следующий набросок: «Не тем горжусь я, мой певец. . .». Основная тема его — размышление о назначении поэта, о его подлинном призвании. Но и этот набросок остался незавершенным. Наконец, Пушкин пишет третий по счету набросок: «Ты прав, мой друг, напрасно я презрел. . .». Здесь Пушкин как бы отвечает на вопросы Раевского, поставленные в «Певце в темнице» («Ты знал ли радость? . .», «Ты знал ли дружества привет? . .» и т. д.). Пушкин говорит, что он, в отличие от героя Раевского, «знал» «дружбу», «любовь», «труд и вдохновенье», «досуг», «клики радости» и «лепетанье славы шумной». Однако познав все это, герой пушкинского стихотворения приобрел печальный жизненный опыт и понял, что все это не дает счастья. К тому же выводу, как мы помним, был близок и Раевский, однако если поэт-декабрист полон оптимистических надежд и видит смысл жизни в борьбе, то Пушкин приходит к иному выводу, не разделяя иллюзий Раевского. Пушкин с горечью признается:

Я говорил пред хладною толпой
Языком истины свободной,
Но для толпы ничтожной и глухой
Смешон глас сердца благородный.

Везде ярем, секира иль венец,
Везде злодей иль малодушный,
Тиран. . . . . льстец
Иль предрассудков раб послушный.

Мысль поэта осталась незаконченной, он еще не разобрался во всей сложности совершившихся событий, а торжество реакции все более усугубляло мрачные размышления о безрезультатности той борьбы, которой были отданы лучшие чувства и силы. От незавершенного послания Раевскому через другие незавершенные стихотворения идет Пушкин к грустной притче «Сеятель». [1] Пушкин очень тя-

[1] См. об этом: И. Медведева, Пушкинская элегия 1820-х годов и «Демон». — «Временник пушкинской комиссии», т. 6, М. — Л., 1941, с. 51—71.

жело пережил подавление национально-освободительного движения в Европе и разгром кишиневских декабристов. Стихи о «Сеятеле» отражают трагедию одинокого борца, вышедшего на посев «до звезды», слишком рано, и потому потерпевшего неудачу в своей пропаганде. Может быть не сознавая того, Пушкин в «Сеятеле» совсем близко подошел к трагедии сурового республиканца Раевского, томившегося в Тираспольской крепости.

Раевский был не единственным поэтом среди южных декабристов. В Тульчине был свой кружок поэтов, куда входили А. П. Барятинский, В. П. Ивашев, братья Павел и Николай Бобрищевы-Пушкины. Все они были, правда, менее преданы поэзии, чем Раевский, и обладали меньшим поэтическим дарованием, однако дошедшие до нас произведения этих декабристов говорят об идейной и художественной близости их творчеству Раевского. Тульчинские поэты объединялись вокруг Пестеля. Все они были ему лично близки, и в послании Пестелю Барятинского говорится о частых дружеских собраниях, беседах о литературе, о стихах и т. п. Барятинский писал свои стихи по-французски. В 1824 году в Москве вышла книжка его стихов. Послания Пестелю и Ивашеву в ней особенно интересны. Павел Бобрищев-Пушкин выступал как баснописец (басни он писал и до 14 декабря 1825 года и после, в Читинском остроге). Николай Бобрищев-Пушкин еще в 1816—1817 годах в альманахе «Каллиопа» опубликовал несколько своих стихотворений, философских элегий, среди которых наиболее интересна «Бессмертие». Павел Бобрищев-Пушкин, как и Барятинский и Раевский, обнаружил явную склонность к философским темам. Подобно другим декабристам, они оперируют словами высокого гражданского стиля, придающими их поэтическим размышлениям политическую окраску.

В истории декабристской поэзии тульчинско-кишиневская группа поэтов должна занять свое место.

5

Раевский продолжает писать стихи и в Сибири. Правда, дошедшие до нас произведения немногочисленны (трудная жизнь и постоянные заботы почти не оставляли места для творчества), но в них Раевский развивает основные темы и настроения своей поэзии. Главная тема сибирских стихотворений Раевского — раздумье о прожитой жизни, осмысление своего пути, подведение итогов. В жизни своей Раевский не раскаивается. Эта мысль проходит через все его произведения. Нежелание смириться, подчиниться своим врагам,

обменять свою «жестокую долю» на «цепь приманчивой неволи» — одна из тем «Послания к К....ву» (1828). О правильности своего пути говорит Раевский в послании к дочери — «Мой милый друг, твой час пробил...» (1846—1848), в «Предсмертной думе» (1842). Тем не менее встречаются в стихах поэта и настроения подавленности, какого-то душевного оцепенения, особенно в начале ссыльной жизни («Послание к К....ву», «Она одна казалась мне мила...», отчасти «Дума»).

В образе героя сибирской лирики Раевского все больше проступают автобиографические черты, которые подчеркивают то основное в его характере, что было уже намечено в посланиях из Тираспольской крепости, — волю, несгибаемость, внешнюю суровость.

Интересно автобиографическое стихотворение «Она одна казалась мне мила...» (1829), в котором поэт воспроизводит историю своих отношений с будущей женой Е. М. Середкиной. Традиционная романтическая коллизия: он — охладевший к жизни, печальный узник, разочарованный во всем страдалец; она — дева робкая, невинная, горячо преданная ему, — переводится в план реальных взаимоотношений и завершается не традиционно литературным, а подлинно жизненным финалом: она не гибнет, отвергнутая им, а становится его женой.

В некоторых стихотворениях Раевского возникает тема экзотической сибирской природы, то как контрастная по отношению к печальному настроению героя («Послание к К....ву»), то как вызывающая соответственно высокие философские размышления («Дума»). Оставаясь исключительно лириком, Раевский не использует сибирскую тему как историческую или этнографическую, подобно другим декабристам (например, «Саатырь. Якутская баллада» А. Бестужева). Однако и на его поэзию новая обстановка оказывает несомненное воздействие. Созерцание мощного водопада Икаугуна, «снежных вершин», «гряды гранитных стен и гор», «дикого леса» приводит к размышлениям о величии и вечности, о будущем времени, о собственной жизни («Дума»).

Подведение итогов — важная тема декабристской поэзии периода тюрем и ссылки. Осмысление всего декабристского дела ведется в лирике, поэмах, исторических драмах Кюхельбекера, в лирике и поэмах А. Одоевского и А. Бестужева. Для Раевского мысль о целесообразности принесенных жертв — главная идея его творчества. В стихах, обращенных к будущему поколению, к своим детям («Когда ты был младенцем в колыбели...», «Мой милый друг, твой час пробил...»), Раевский говорит о том, что они должны следовать путем отца, который первый в их душе «смысл родил» «о вольности

и тяжести цепей». Обращаясь к дочери, поэт призывает ее идти «к призванью смело», «любить людей», «дать руку им в пути»:

Я знаю сам, трудна твоя дорога,
Но радостно по ней идти вперед,
Тебя не звук хвалы кимвальной ждет,
Но милость праведного бога!

Стихотворение, обращенное к дочери, — программное и одно из лучших произведений Раевского. Рассказывая о своей жизни, о перенесенных страданиях, поэт-декабрист говорит о своем участии в борьбе как о самом прекрасном; приобщение к освободительным идеям сравнивает со «светом», который «просиял свыше». И в самые тяжелые дни вера в свою правоту поддерживала страдальца:

Я вопрошал у совести моей
Мою вину... она молчала,
И светлая заря в душе моей сияла!

Раевский достигает большой искренности, проникновенности и выразительности в своих поздних стихах. Рисуя свой жизненный путь и подводя итоги, поэт-декабрист завершает образ целеустремленного героя и борца, побежденного, но не сломленного:

Не видел я награды за терпенье,
И цели я желанной не достиг,
Не встретил я за труд мой одобренья,
Никто не знал, не видел слез моих.
С улыбкой я несу на сердце камень,
Никто, мой друг, его не приподнял,
Но странника везде одушевлял
Высоких дум, страстей заветный пламень.

Эти стихи свидетельствуют о росте поэтического дарования Раевского, о достигнутом им уровне художественного мастерства.

Поэтическое творчество Раевского, так же как и политическая его борьба, входит составной частью в гражданскую вольнолюбивую поэзию декабристов. Делая общее с другими поэтами-декабристами дело, ставя и решая сходные вопросы, он был одним из создателей большого и сложного литературного явления — поэзии освободительного движения первой половины XIX века.

А. Архипова
В. Базанов

СТИХОТВОРЕНИЯ

СТИХОТВОРЕНИЯ
1812—1821

1. ПЕСНЬ ВОИНОВ ПЕРЕД СРАЖЕНЬЕМ

Заутра грозный час отмщенья,
Заутра, други, станем в строй,
Не страшно битвы приближенье
Тому, кто дышит лишь войной!..
Сыны полуночи суровой,
Мы знаем смело смерть встречать,
Нам бури, вихрь и хлад знакомы.
Пускай с полсветом хищный тать
Нахлынул, злобой ополченный,
В пределы наши лавр стяжать;
Их сонмы буйные несчетны,
Но нам не нужно их считать.
Пусть старец вождь прострет рукою
И скажет: «Там упорный враг!»
Рассеем громы пред собою —
И исполин стоглавый — в прах!..

Сей новый Ксеркс стопою силы,
Как огнь всежгучий, к нам притек
Узреть Батыевы могилы,
Сарматов плен и шведов рок,
Узреть поля опустошенны,
Прах мирных сел и городов,
И небо, заревом возжженно,
И вкруг — изрытый ряд гробов,
А пред собой — перуны мести
И твердокаменную грудь
С хоругвью: «Смерть на поле чести
Или свершим опасный труд».

Ужель страшиться нам могилы?
И лучше ль смерти плен отцов,
Ярем и стыд отчизны милой
И власть надменных пришлецов?

Нет, нет, судьба нам меч вручила,
Чтобы покой отцов хранить.
Мила за родину могила,
Без родины поносно жить!
Пусть дети неги и порока
С увялой, рабскою душой
Трепещут гибельного рока,
Не разлучимого с войной,
И спят на ложе пресыщенья,
Когда их братья кровь лиют.
Постыдной доле их — презренье!
Во тьме дни слабых протекут!
А нам отчизны взор — награда
И милых по́ сердцу привет,
Низвергнем сонмы супостата,
И с славой нам восплещет свет!..
Краса певцов, наш бард любимый,
Жуковский в струны загремит,
И глас его непобедимых
Венком бессмертья отличит.
И юный росс, приникший слухом
К его цевнице золотой,
Геройским вспыхивает духом
И, как с гнезда орел младой,
Взлетит искать добычи бранной
Вослед испытанным вождям...
О други! близок час желанный
И близок грозный час врагам, —
Певцы передадут потомству
Наш подвиг, славу, торжество.
Устроим гибель вероломству,
Дух мести — наше божество!

Но, други, луч блеснул денницы,
Туман редеет по полям,
И вестник утра, гром, сторицей
Зовет дружины к знаменам.

И мощный вождь перед полками
И с ним вождей бесстрашных сонм
Грядут!.. с победными громами
И взором ищут стан врагов...
К мечам!.. Там ждет нас подвиг славы,
Пред нами смерть, и огнь, и гром,
За нами горы тел кровавых,
И враг с растерзанным челом
В плену ждет низкого спасенья!..
Труба, сопутник наш, гремит!..
Друзья! В пылу огней сраженья
Обет наш: «Пасть иль победить!»

1812 или 1813

2. ПЕСНЬ

Полно плакать и кручиниться,
Полно слезы лить горючие:
Честь и родина любезные
Мне велят с тобой не видеться.

О девица, о красавица,
Осуши слезу горючую,
Дай прижать тебя к груди моей!

В поле знамя развевается,
И товарищи любезные
С кликом радостным волнуются
В ожиданьи время бранного.

О девица, о красавица,
Осуши слезу горючую,
Дай прижать тебя к груди моей!

Полно плакать и кручиниться.
Если любишь друга верного,
С верой к богу, к другу с верностью
Дожидайся возвращения.

О девица, о красавица,
Осуши слезу горючую,
Дай прижать тебя к груди моей!

Не захочет дева русская
Посрамить стыдом любезного,
Чтобы он священну родину
Позабыл для страсти пламенной.

О девица, о красавица,
Осуши слезу горючую,
Дай прижать тебя к груди моей!

Если я погибну с честию,
Мы с тобою *там* обымемся.
Если я останусь с славою,
Нам любовь сто раз прелестнее.

О девица, о красавица,
Осуши слезу горючую,
Дай прижать тебя к груди моей.

Между 1812 и 1816

3. ЭЛЕГИЯ НА СМЕРТЬ ЮНОШИ

Давно ль сей юноша счастливый
Любовь со славой разделял?
Друг Лиды, Лене друг любимый
За чашей светлой ликовал.

Давно ль на брани невредимый
Булатный меч в руке сверкал?
Давно ли конь неутомимый,
Как вихрь, из строя в строй летал?

Давно ль его бесстрашные дружины,
Не изнуренные борьбой,
Сквозь огнь, сквозь бурные пучины
Как к пиршеству стремились в бой!

Изломан меч окровавленный,
И спутник конь осиротел,
И ратных голос отдаленный
От хладной скорби онемел.

Ужасно над его главою
Враг лютый стрелы рассыпал!
Мечом и грудию стальною
Он путь к победе пролагал.

Там туча тмит восход денницы,
Здесь жребий гибельный смежил
Предвременно его зеницы
И пламень груди погасил!

И скоро, скоро весть молвою
К его любезной долетит,
И скорбь унылая слезою
В чужбине гроб не оросит.

Друзья! а наш обет герою —
Как жены, слез не проливать...
Но с первой бранною трубою
В рядах врагов — наш долг отдать!

Между 1812 и 1816

4. КНЯЗЮ АНДРЕЮ ИВАНОВИЧУ ГОРЧАКОВУ

Вождь смелый, ратным друг, победы сын любимый!
Склони свой слух к словам свободного певца:
Я правду говорю у твоего лица,
Не лестию водимый;
К поэзии в себе питая смелый жар,
Восторгом вдохновенный,
Природою мне данный дар
Тебе я приношу, как дар определенный
Для славы юного певца;
Пусть струны скромныя цевницы
Звучат хвалу тебе сторицей!
Не лавров я ищу, не почестей, венца;
Но в поле бранное тобою предводимый,
Хвалы твоей ищу; и если жребий мой,
О славы сын любимый!
Велишь еще мне раз стремиться за тобой
На глас трубы военной —
Я смерть себе вменю за дар благословенный.
Не ты ль с Суворовым чрез Альпы проходил?
Не ты ли презирал опасные стремнины?
И под державною рукой Екатерины
Не ты ль полками предводил?
Князь духом, россов вождь, и вождь непобедимый,
Хвала тебе стократ!
С тобой всегда, везде полки твои счастливы,
С тобой они давно привыкли побеждать
И поле бранное считать себе забавой,
На лаврах отдыхать при звуке громкой славы.

Не зверством, не войной
Герой бессмертье обретает,
Тиранов и по смерть потомство проклинает;
Но правосудие, глас кротости святой
С победою должны быть вечно неразлучны.
Не ты ли нам пример являешь днесь собой,
О вождь благополучный!
Там веки протекут под времени рукой,
Но славу добрых дел ничто не разрушает,
Бессмертие по смерть великого встречает!
Пусть враг дерзнет еще нарушить наш покой,
Ты снова полетишь чрез бурные стремнины
Предписывать закон врагам непобедимый!
И свет дивить собой!
Монарх благословенный
Заслуги, подвиги твои вознаградит,
И, лавром осененный,
Ты будешь здесь в сердцах, а там —
в потомстве жить!

30 ноября <1815>
Днестр

5. ПОСЛАНИЕ К НИКОЛАЮ СТЕПАНОВИЧУ АХМАТОВУ

Оставя тишину, свободу и покой,
Оставя отчий кров, семейства круг любимый,
Во цвете юных лет, неопытной стопой
Ты в шумный круг ступил тропой невозвратимой!
Отчизне, долгу раб, в краю чужом один,
От милых в отдаленьи,
Обманчивой Фортуны сын!
Куда влечет тебя твое воображенье?..
На утренней заре удел твой испытать
Печали, огорченье,
Чувствительным сердцам назначено страдать
И горькою слезой платить за наслажденье.
Так, должен ты, мой друг! всем общий жребий знать:
И твой веселый взор покроется слезою,
И вздохи кроткую улыбку умертвят
Зоилов стрелы пред тобою;
Но жребий низких душ — в презреньи исчезать!
Воспоминание дней ясных, невозвратных
Мечты о счастии угасшем возвестят,
Что в изменениях превратных
Рассвет твой был... блаженнее стократ
И славы громкия, и почестей ничтожных,
И честолюбия, и пагубных страстей,
Предначертаний невозможных,
Которым нет конца средь тысячи путей.

. . . .

Но ум возвышенный, тебе природой данный,
Но сердце нежное и благородный дух,

Под надзиранием отца образованны,
Тебе откроют путь ко славе, юный друг;
Для кроткого царя, для родины священной
Приятно жертвовать собой;
В наш век чудесный, просвещенный
Примеры славных дел сияют пред тобой!
Отечество твое, под скипетром священным
Монарха славного, закон царям дает
И простирает длань народам угнетенным!
И изумляет свет!
Колосс надменный пал! Европа в удивленьи
Зрит победителя, свободу и закон!
Благословляя мир, повсюду в восхищеньи,
Благословляет русский трон!
Так, юноша! гордись отчизною твоею!
Спеши ей долг отдать, ее достойным быть;
И добродетельной стезею
Спеши полезным быть и славу заслужить!
Делами славными героев восхищенный,
Ты с благородною душой
Стремись на путь, тебе судьбой определенный,
Неколебимою стопой!
В кругу общественных всечасных изменений,
Где в юности твоей всё ново пред тобой,
Ты будешь зрителем превратных приключений
И будешь сам судьбы иль случая игрой.
Приманки хитрых фей, любви обвороженье
Для сердца нежного опасны могут быть;
Но времени закон, но опыт размышленья
Сей пламенный огонь и чувства уменьшит.
И я на утре дней, страстям порабощенный,
Цирцее отдал долг, ей жертвы приносил...
Но, ах! неверными стократно обольщенный,
Светильник пламенный рассудком погасил.
Пусть добродетели закон всегда священный
Тебя к бессмертию ведет среди путей,
Сокрытых от невежд, где разум просвещенный
Находит истину и в красоте своей.
Бессмертие по смерть великим достается:
Потомство правды глас героя возвестит,
А истинный талант препон не ужаснется.
Приятная мечта — в потомстве вечно жить!

С спокойной совестью и позднею зарею
Воспоминание приятно усладит
Дни угасающи под времени рукою;
Не вечно радости из полной чаши пить!
Прийдет и твой закат с приметной быстротою,
Исчезнет светлый луч, и твой веселый взгляд
Покроется навек определенной тьмою, —
Не сладостно ль своей отчизне долг отдать?
И, шуму удалясь, с пенатами, с семьею,
Протекшие часы ненастья забывать?
Подчас и с музами и с милою своею
Дни безмятежные свободно восхвалять?..

<1816>
Тульчин

6. ОДА ДРУГУ

На лоне ласкательной неги
Сбрось иго заботы, мой друг!
Здесь всё ненадолго —
Спеши, пока еще время, душистые в поле цветы
Рукою беспечной срывать...

Ах! радости смежны с печалью,
Фортуна лелеет тебя,
И злато рекой
Лиется в обитель твою зарею безбедного дня...
Но буря таится во мгле,

Ланиты и сердце пылают
Любви сладострастным огнем,
И дева прелестна
Белолилейной рукою на ложе восторгов зовет —
Там чашу Киприде пить в дар.

Алмазной клубится струею
Шампанское в кубках златых,
Сонм юношей резвых
С тобою разделят вино и яствы роскошных столов,
И годы как миг пролетят!

Но, друг, в упоеньи страшися соделаться жертвой страстей,
Да гордость с пороком
Тебя не коснется во тьме под видом *змеи золотой;*
Опасны и взгляды льстецов;

Померкнут, как в сумрак денница,
И мысли довольства собой;
Душа унывает,
Когда не стремимся ко благу прямою и верной стезей, —

Свобода и совесть твой путь.
Жизнь наша есть искра во мраке —
Пылает душою она,
А разум нас высит
Превыше ничтожных сует к Источнику жизни миров
И прах сотрясает земной!

1816 или 1817
Днестр

7. ПОСЛАНИЕ ДРУГУ

Как отшельник, вдалеке
От сует, затей и славы,
Сделавшись беглец забавы,
В красном старом колпаке,
Я доволен сам собой!
Без придворной хитрой маски,
Не прельщаясь мишурой,
Чужд вельмож надутых ласки;
Не в числе толпы большой
Обезьян пустоголовых
И отъявленных льстецов,
Кои лижут пыль следов
Истуканов многославных;
Без расчетливых друзей,
Кои в книжку записную
Вносят дружество князей
Иль министров речь пустую...
Я — беглец и тех умов,
Кои славною стезею,
Не средь гибели и бою,
Достигают всех чинов,
И сатрапу вместо скуки,

. . . .

Или, сродни к перемене,
Уморившись *так и сяк,*
Забавляются в *триктрак!!*
Ты всё знаешь: nota bene, [1]
Где ж за ними вслед поспеть?

---

[1] Хорошо заметь, обрати внимание (лат.). — *Ред.*

И с моей ли головою
Столь чудесною игрою
В славном подвиге успеть?
О! их слава — слава мира,
Подвиг их греми гудок,
Иль Грицка [1] охрипша лира
Средь корчмы под вечерок!
Если б мне, назло природе,
Кисть свою Рафáэль дал,
Я бы, верно, весь по моде,
Мой образчик начертал;
Или Фидия рукою
Нимфу, Вакха пред тобою
В сапогах изобразил,
И в мундире, в эполетах,
В шарфе, в шляпе и в штиблетах
На колени посадил!
Или, следуя Грессету,
Лирой нежной очертил
И с «Vert-Vert»'ом выдал свету!
Но могу ль за ними вслед
В храм бессмертия стремиться?
Надо с вольностью проститься,
Запереться в кабинет
И пустить свой дар в оценку,
Чтоб на смех в съестных рядах
Стали и в моих стихах
Продавать пирог в копейку.
И, о горе! вечный стыд!
Если князь, венцом покрытый,
Завернет туда со свитой
И увидит честь его, дела и славу,
Зря прильнувших к пирогам,
Кои в красоте своей
Едокам дают в забаву
С пирогом за пять грошей!..
Но прости — заговорился
И на рынок с ним пустился,

[1] Грицко — слепой нищий Ушицкого повета, играющий за грош или два по корчмам на лире, которая издает голос немного хуже волынки.

Время даром упустил
И о деле позабыл.
Там не нужно испытанье
Мрачных тягостных наук,
Но приятен тесный круг,
Где блестит одно познанье.
(Ах, почто во тьме наук
Я учением томился
И премудрости лишился,
Коей сей славен круг!)
Интегралы, бомб паденье,
Логарифмы, уравненье —
Им не нужны, милый друг!
Там науки обитают,
Кои ум не отягчают,
Но дают иной закон
Всем делам и направленью,
Скуке, делу и безделью. . .
Вместо *Вобана, Кассини,*
Фридриха иль *Жомини*
На столе у них лежит
Календарь velin, [1]
Возле святец — œuvres [2] Грекура,
Где близ голого амура
Голая Венера спит!
И in-folio [3] картины
Из пале-рояльских стен,
Где семнадцать перемен
Вкруг творит Приап ярливый!

Друг мой! если всё писать,
Что я знаю под рукою,
То, клянуся головою,
Надо две стопы связать! . .
Там я видел возвышенье
Инославных подлецов,
Силу их и униженье

---

[1] Сорт бумаги — подразумевается роскошный придворный календарь (франц.). — *Ред.*

[2] Сочинения (франц.). — *Ред.*

[3] Форматом в поллиста (франц.) — *Ред.*

Заразительных умов.[1]
Видел злых невежд собранье,
По уму — весь желтый дом,
По делам — Гомор-Содом.
И навозных куч сиянье!
Видел я, как генерал[2]
Табакерку подымает
И платочком подтирает,
Что сатрап ее . . . .
Видел чудо и слыхал,
Как превнятными словами
Некий голос вкруг шептал:
«Князь с ослиными ушами»,
Видел, слышал и сказал:
«Здесь тебе не место чести,
Ты не знаешь подлой лести
И к тому ж злой жребий дал
Тебе странную фигуру:
Кверху нос, язык ножом,
Впалый лоб в лице рябом
И кривую позитуру,
В двадцать лет оброс брадой,
В дерзких взорах то сияет,
Что невольно выражает
Вид иронии презлой!
Нет, беги от них скорее!
Лучше в хижине простой
Жить с скотами, с простотой,
Чем с людьми скотов глупее!»
Дымный воздух и сырой,
Стены зеленью покрыты,
Пухлый пол, в местах изрытый,
И в дверях навоз рекой,
Друг мой, мне сто раз дороже,
Чем то с почестями ложе,
На котором князи спят!
И в ночи в уединенье,
Судным прачкам на мученье,
Без свечей ландкарт чертят.

---

[1] Это наше общество.
[2] Тимрот на смотру под Каменец.

Envoi au prince[1]

Отрасль Мида, россов честь,
Не прими мой глас за лесть.
Я цевницей тихострунной
Не пою всех славных дел,
Кои я узнать успел!
Будь спокоен: *мир безумный*[2]
Не лишит тебя ума;
На челе твоем дубовом
Отрасль Селены взошла
И свилась с венком лавровым!

Finis![3] час уже молчать.
Я пойду в бауле лени
Пополам с нуждою спать,
Ты в роскошно-сладкой сени
Креатур твоих лобзать...

1816 или 1817

---

[1] Послание принцу (франц.). — *Ред.*
[2] Это мы.
[3] Кончено! (лат.) — *Ред.*

8. К МОИМ ПЕНАТАМ

От отческих полей, от друга отлученный,
Игра фортуны злой, коварной и страстей,
Мечтой обманчивой в свет бурный увлеченный,
Свидетель суеты, неравенства людей,
Сражаясь сам с собой, — я вижу преткновенье
На скользком сем пути и бездны пред собой.
Пенаты милые! услышьте голос мой,
Внемлите странника бездомного моленье:
Вы, в юности меня хранившие от бед,
Теперь от роковых ударов защитите
И к дому отчему скорее возвратите:
Уже я видел бурный свет!
Как в ясный, тихий день воздушный метеор
Движеньем мрачных туч свод неба помрачает,
Так в утро дней моих меня тоска снедает,
И тщетно в будущность бросаю робкий взор:
Там новые беды грозят еще цепями...
О лары кроткие! да будет ваш покров
Над бедным путником, зовущим со слезами
На помощь вас одних; услышьте скорбный зов —
И горести мои на время прекратите...
Под небом неродным веселий, счастья нет,
Меня вы к родине скорее возвратите:
Уже я видел бурный свет!
Честь, слава вдалеке взор слабый обольщает,
Богатство, титулы — совместны с суетой,
И Крезус пьет фиал тоски и скорби злой,
Сатрапы гордые средь роскоши скучают.

Нет, больше не хочу я славы и честей!
Знаком кровавый путь мне грозныя Беллоны,
Средь сечи гибельной, средь громов и мечей
Я слышал славы клич — и жертв невинных стоны.
Пенаты добрые! Внемлите мой обет —
И бурю над главой моею отведите,
И к дому отчему скорее возвратите:
Уже я видел бурный свет!

<1817>

9. МОЕ ПРОСТИ ДРУЗЬЯМ
К⟨ИСЛОВСКОМУ⟩ И П⟨РИКЛОНСКОМУ⟩

Друзья! налейте кубки!
Ударим край о край
И в скорбный час разлуки
Запьем свое «прощай!»...

Не глас иноплеменных,
Не пушек близкий гром,
Не клик врагов надменных
С увенчанным челом,
Но нежный глас природы,
Восторги и любовь
Под верный дружбы кров
В объятия свободы
От вас меня зовут.
О други, между вами
И мой тернистый путь
Усеян был цветами.
Довольно ясных дней
Близ вас я видел, други!
Клянусь во дни разлуки
Вас часто вспоминать,
В мечтах одушевлять
Час дружеской беседы,
Где острых слов победы
Вы знали замечать
И в шутках повторять!..

Где царство и народы
В кругу прямой свободы,
За чашей пуншевой,
При дыме трубок сидя,
Пристрастья ненавидя,
Судили пред собой!
Где тайной скорби силу
И близкую могилу
Я с вами забывал
И радостью счастливой
В час думы молчаливой
Мой дух воспламенял!
Где злобу и пороки
Бесчувственных людей,
Тщету заслуг, честей,
И скрытые дороги
Искателей, льстецов,
И страстное сужденье,
И к истине презренье
Смешных лжемудрецов,
Где суд невежд пристрастный
Дает невеждам путь,
Ко славе безопасный,
Где знания безгласны,
Где ум, талант гнетут, —
Мы видели — учились...
И к почестям стремились
Неробкою стезей!..
Исчезни, пламень мой,
Когда я вас забуду,
Свободные друзья!
Вот вам рука моя,
Что свято помнить буду
Союз сердец святой.
Скорее луч денницы
В предвестии гробницы
Угаснет надо мной!

Друзья! налейте кубки!
Ударим край о край
И в скорбный час разлуки
Запьем свое «прощай!»...

Прик<лонский>, нам с тобою
Еще сквозь мрачных туч
Блестит надежды луч —
Быть может, Марс трубою
Из мертвого покою
Нас в поле воззовет
Приманчивыя славы,
И след войны кровавой
Нас к цели доведет.
Быть может (сокровенье
Кто может предузнать?),
В пылу огней, сраженья,
Как к рати двигнет рать
Погибельной стезею,
Нам суждено с тобою
В добычу смерти злой
Предвременну могилу
Узреть в земле чужой!..
Но нет, и мысль унылу
Забвенью предадим,
За чашей круговою
Веселою мечтою
Свой дух воспламеним!..
Оставя жизни бурной
Неласковый прием
И блеск честей мишурный,
Ты истинным путем,
Кис<ловский>, друг свободы,
Под сень самой природы
Нетрепетно идешь,
Где время золотое
В беспечности, покое
Ты мирно проведешь...
Ни громы в отдаленьи,
Ни ядер звонкий шум
В минуты сладких дум,
В часы отдохновенья
Тебя не воззовут!..
Под кровлею родною
Там счастие с тобою!..
Там дружества приют!
И дни твои беспечно,

Но быстро, скоротечно
В довольстве пробегут.
Доколе юность с нами
И огненная кровь
С свободными сердцами,
Друзья! дотоль *любовь,*
И *дружбы* глас священный,
И *кубок* позлащенный
С пенящимся вином,
Честь, истина с добром —
Нам будет утешеньем
И долгом в жизни сей!..
Прямое наслажденье —
Не блеск пустых честей,
Не славы шаткой сила,
Не милости царей,
Не злато богачей —
Их ранняя могила
Во мраке погребет...
Нет, к счастию ведет
Путь *чести* благородной,
Где *ум души свободной,*
Где *совести* покой
Упрекам неподвластен,
С рассудком, и душой,
И с честию согласен!
Но, други, час бежит...
День ясный вечереет,
И в кубках дно яснеет...

Всё, кроме нас, молчит,
И троица стоит
Коней удалых, рьяных,
И солнца свет багряный
За дальнею горой
Сменился темнотой!
Природа в неге спит!..
Луна-путеводитель
Путь дальний серебрит,
Да гений-покровитель
В разлуке вас хранит...

Итак, нальемте кубки,
Ударим край о край
И в скорбный час разлуки
Запьем свое «прощай!»

1817
Каменец-Подольск

10. ПОСЛАНИЕ ПЕТРУ ГРИГОРЬЕВИЧУ ПРИКЛОНСКОМУ

Qui vit content de rien
possède toute chose.

Boileau. V Epitre[1]

Мой друг! взгляни кругом на наш подлунный свет:
От трона царского до хижины убогой —
Везде увидишь след богини быстроногой,
Но постоянного для ней приюта нет.
Чем выше здание — тем ближе к разрушенью,
Опасен скользкий путь титýлов и честей,
Опасны милости и дружество царей —
Кто ближе к скипетру, тот ближе к ниспаденью!
Как часто видим мы невежду и глупца
С титýлом княжеским, в заслугах, уваженьи,
Который с гордостью бросает взор презренья
На долю скромную и бедность мудреца.
Но тратит ли, мой друг, мудрец свои надежды
Фортуне вопреки покоем обладать?
Нет, тою же стезей он скрылся от невежды
Под кров беспечности о слабом сострадать!
И в рубище Солон дал Крезу наставленье,
Как смежны счастие и слава с нищетой, —
Пред Киром на костре от смерти роковой
Спасло нежданное счастливца предреченье.
Лишенного очей, в темнице и цепях

[1] Кто доволен малым, тот обладает всем. *Буало.* V Послание (франц.). — *Ред.*

Зри Велизария и с ним превратность рока...
Давно ль Наполеон, полсвета бич и страх,
Мечтал оспаривать и власть и силу бога?
Где ж гром его побед?.. Фортуна за собой
Триумфы, почести и славу удалила.
Нет постоянного для смертных под луной,
Превратность — жребий наш, а верное — могила!..
Чины, и почести, и всех богатств собор,
Когда нет мудрости, нас скукой отягчают,
Прельщается ль резцом и кистью грубый взор?..
Безумцы остроту в безумце обретают;
Страшилище ума, они в кругу своем
Нерона с Августом в величии равняют,
Херила наших дней Пиндаром называют
И восхищаются Беатуса умом!..
Сословие невежд, гордящихся породой,
Без знаний, без заслуг, но с рабскою душой,
Но с знаньем в происках до степени высокой,
Идет надменною и быстрою стопой...
Презренные льстецы с коленопреклоненьем
Им строят алтари, им курят фимиам.
Напрасно равенства мечтатели желают,
В природе равенства не может быть и нет:
Одних смирение, таланты отличают,
Других — безумие и преступлений след;
Одним назначено дней миром наслаждаться,
Другим — убийством жить и в дебрях пресмыкаться.
Родится гений, ум, родится и глупец —
Ужель природы дар не должен дать пер́венство?
Начало всем одно, и всем один конец,
Но в мире нравственном не может быть рав́енство, —
Лишь независимость есть мудрого черта;
Под игом деспота-тирана — он свободен...
Для пользы ближнего жить — сладкая мечта!
Тому, кто чувствами, кто духом благороден,
Он тайно не острит на братий грозный меч,
Не жаждет для венка бессмертия и славы,
Неистовой рукой точить ручьи кровавы,
Жилища мирные в добычу брани жечь
И доблесть исчислять числом насильств и мести;
Ему неведом путь покорства, низкой лести
Пред знатным гордецом — вельможею царя;

Он в доле средственной нужды ни в чем не знает
И, прихотям не раб, спокойно засыпает
С подругою своей до радостного дня!
Природы добрый сын, в объятиях природы
Он верно свой покой и благо обретет;
Не алчен к золоту, он ищет лишь свободы
И в Новый свет искать сокровищ не плывет.
Приклонский! Счастие еще не за горами,
И если от него нас жребий отлучил,
То опыт гибельный стократно научил,
Как радости ловить удачными часами,
Желанье, прихоти и страсти обуздать
Должны рассудком мы, чтоб в меру наслаждаться.
Довольно, милый друг, за призраком гоняться,
Не время *у моря погоды ожидать!..*

1817

11. Г. С. БАТЕНЬКОВУ

Хотя глас дружества молчанью твоему
Без прекословия и укоризн прощает,
Но можно ль нежность дать холодному уму,
Который действие с причиной разбирает?
Ужели хладная и мертвая Сибирь,
Где видны ужасы неласковой природы,
Где вьюги, и мороз, и вихорь-богатырь
От точки полюса под знаменем свободы
Стремятся по горам пустынным бушевать,
Могла твой прежний дух и дружбы уверенья,
Как кедра сильный ветр главу, поколебать...
И силлогизма дать софизму заключенья?
Ужель свинцовый час
Покрыл прошедшее невозвратимой тьмою,
Ужель он заглушил влеченья тайный глас,
Который юношей нас съединил с тобою?..
Конечно, в те часы, как мыслью ты летал
С Невтоном, с Гершелем в планетах отдаленных,
Движенья их, часы, минуты исчислял,
Их жителям давал законы непременны,
Чужд бренности земной,
О друге забывал, как о пылинке бренной,
И гений добрый твой
На время оставлял тебя мечтой химерной.
Иль, долгу верный раб, в союзе с суетой,

Заботой, нуждами и бедством окруженный,
Не мог ты жертвовать минутою одной
Для друга ежедневно?

Но прочь сомнение, ты тот же должен быть:
Те ж чувства, чуждые и низости и лести,
И ум возвышенный, способный отличить
Талант от глупости, дым суеты от чести,
Те ж мысли правоты, размер во всех делах,
И поступь, сродная закону протяжений,
Те ж Эйлер и Лагранж — в сияющих глазах
По тем же степеням высоких уравнений!..
Прости, мой друг,
Метафорическим моим уподобленьям!
С тяжелой головой, с унынием сам-друг,
Могу ли услаждать приятным песнопеньем
Твой к бурям приобвыкший слух?
К тому ж вожатый мой, Вакх дерзостный и юный,
Тогда как я пишу, волнуя бурный дух, —
Мои наладил струны!..
Напрасно б стал тебе забавы воспевать,
О радостях вещать дрожащими устами
И подвиги мои с улыбкой исчислять
На поле боевом не голосом, очами...
Погибло всё, как сон с младенческой мечтой.
Любитель некогда военной непогоды,
С прискорбием теперь меч обнажаю свой,
Как чадо смелое безвластия, свободы!..
Я свет печальный созерцал —
И волос дыбом становился!
Когда же глубину души людей познал,
Я с светом раздружился!..
Руссо и Тимона невольно оправдал,
И, им последовать готовый,
Чем более людей боялся и бежал,
Тем делались сносней тяжелые оковы!
С пустынею в душе, с сомненьем ко всему,
Не доверяющий сим тварям ослепленным,
Которы в гордости, в невежестве уму
Возносят олтари... и гонят ум смиренный...

1817 (?)

12. ПОСЛАНИЕ Г. С. БАТЕНЬКОВУ

Когда над родиной моей
Из тучи молния сверкала,
Когда Москва в цепях страдала
Среди убийства и огней,
Когда губительной рукою
Война носила смерть и страх
И разливала кровь рекою
На милых отческих полях, —
Тогда в душе моей свободной
Я узы в первый раз узнал
И, видя скорби глас народной,
От соучастья трепетал...
Как быстро гибнет блеск зарницы,
Так из разрушенной столицы
Тиран стремительной стопой
Вспять хлынул с хищною ордой!
И вслед ему бог бранный мщенья,
Во мзду насильств и преступленья,
Перуны грозные бросал
И путь гробами застилал...
Орудие сей грозной мести,
Я взор печальный отвратил
От поприща кровавой чести
И острый меч в ножны́ вложил...
Но ты, мой друг! при шуме славы —
Среди триумфов и побед,
Среди громов борьбы кровавы

Стремясь за разрушеньем вслед,
Свидетель россов смелых силы,
Смиренья их и правоты, —
Поведай мне, что мыслил ты,
Зря цель изрытую могилы?
Скажи, ужель увеселял
Тебя трофей, в крови омытый,
Ужель венок, корыстью свитый,
Рассудка силу заглушал?..
И мрачная завеса пала!
Атропа гибельным резцом
Едва нить жизни не прервала
Твою под роковым мечом.
Простясь с неласковой судьбою,
С печальным опытом, с мечтою,
Ты удалился на покой
Туда, где Лена, Обь волной
В гранитные брега плескают
И по седым во мгле лесам
К Гиперборейским берегам,
Во льдах волнуясь, протекают,
Где всё в немых пустынях спит,
Где чуть приметен блеск природы,
Но где живут сыны свободы,
Где луч учения горит!..
Твои там отческие лары,
Там мир и радости с тобой,
Туда кровавою рукой
Войну, убийства и пожары
Не понесет никто с собой!..
В беседе там красноречивой
С тобой великий Архимед,
Декарт и Кант трудолюбивый,
И Гершель с циркулем планет!
И всё в гармонии с душою,
И чужд клевет и злобы слух...
Почто ж зовешь меня, мой друг,
Делить все радости с тобою!
Могу ль покоем обладать?
Пловец над пропастью бездонной
В отчизне милой, но безродной,
Не ведая куда пристать,

Я в море суеты блуждаю,
Стремлюсь вперед, ищу пути
В надежде пристань обрести
И — снова в море уплываю.

Между 1817 и 1819

13. НЕПОРОЧНОСТЬ ЛЮБВИ

Идиллия

Туманится небо, перун загремел...
Сокрылся за тучами луч яркий денницы...
Я страстью горел
И чашу восторгов на персях девицы
При шуме перуна мгновенно испил...
Всё смолкло, всё тихо, но нежны ланиты Шарлоты
Румянец покрыл,
И локоны зéфир волнует развиты,
И перси лобзает под дымкой сквозной.
И грозное небо и громы щадят наслажденье.
Друг нежный, Шарлота, любови святой
Устав натуральный не есть преступленье!..
Нам сердце и совесть порукой с тобой.
Взгляни, после бури природа гордится
Творенья красой!
И сердце невольно к природе стремится...
Пусть снова ударит перун над главой!
Пусть небо готовит нам сильное мщенье,
Но, друг мой, с тобой
Мне жизнь лишь восторги, а смерть — утешенье.

1810-е годы

14. ШАРЛОТЕ

Давно ли в неге утопал,
Пылая страстью безмятежной?
Давно ль зари восход блистающей встречал
На груди белоснежной?..

Шарлота! грозен взор завистливой судьбы —
Она нас разлучила,
Не внемля голосу мольбы,
Утехи цвет скосила.

Но буря грозная минет,
Мы свидимся с тобою —
Душа надеждою живет...
Разлука не страшна мечтою!..

Пусть верность будет твой закон,
Добро — путеводитель,
И спутник верных, Абеон,
Нам снова возвратит обитель.

В замену радостей, забав и страсти милой
Осталися в удел недуги и печаль...
И мысль от прошлого, стремясь в безвестну даль,
Знакомит нас с безвестною могилой!..

1810-е годы

15. ЕЙ ЖЕ

О, если и тебе назначено судьбою
Изведать мрачное томление души,
За сладости любви
Платить раскаяньем и тайною слезою —
Скажи, могу ли чтить святым судьбы закон
И провидению вверять мои надежды?
Могу ль, смыкая вежды,
Надеяться на сладкий сон?
Нет, нет, беги от глаз доверенность и вера.
Свет мрачный есть цепь зла, избегни цепи сей —
На выях возлежит блуждающих людей;
Их радость детская есть страшная химера!

Забуду ли, когда тебя к груди моей,
Волнуемый страстей робеющих желаньем
Прижал я в первый раз и с тайным трепетаньем
Вкусил сладчайший дар <неспелой> жизни сей,
И воздремал с тобой, блаженством упоенный.
Беспечный, я не мог предвидеть бури бед,
Когда мне в первый раз казался благом свет,
Когда, с тобой соединенный,
Восторгами любви считал мой каждый час;
Но в тихих облаках таился гром опасный —
Приметно исчезал жар чувства сладострастный,
И светлый пламенник желаний вдруг погас!

Предчувство — жребия превратность возвещало!
В борьбе с самим собой я мыслить не дерзал

О следствиях любви. Но глас природы снял
Со взоров мрачное сомнений покрывало!
Я вижу, милый друг, причину тайных слез
И тайного томленья;
Оставь рабам сует пути предрассужденья
И не страшись молвы бессмысленных угроз:
Не может зла творить устав святой природы.
Покорствуй ей, она ведет добра рукой
От бурь и непогод сокрытою стезей
Под кров прямой любви и нравственной свободы!

1810-е годы

16

От ранней юности я жребий мой познал
Из урны роковой — погибельный, несчастный,
И взором трепетным и смутным пробегал
Судьбы моей скрижаль!..

С тех пор денницы блеск и юной девы взоры
Я с равнодушием встречал!
И муз пленительные хоры,
Как песни грубые, внимал
И на величие природы
Взирал, как сквозь туман осенней непогоды!..

1810-е годы

17. СВИДАНЬЕ

В гроте темном, под горой,
Между кленов, тополями,
Где чуть блещет меж листами
Отсвет солнца золотой,
Где ручей шумит струей
Меж зелеными брегами,
Обречен тот тайный час
С милой раннего свиданья,
Где любовь сулит для нас
Светлый рай очарованья,
Где я первый поцелуй
На устах сорвал прелестной
И вкусил восторг небесный.
Слышу шорох, торжествуй!
Как Аврора, на рассвете
В легком утреннем корсете
Лиза робкая идет
И стыдливым ищет взором,
Где ее друг страстный ждет.
Свист пернатых встретил хором
Луч денницы золотой.
Всё в гармонии со мной,
Всё вокруг весною дышит,
Лишь зефир листы колышет,
Лишь под легкою ногой
Розмарин с нарциссом гнется, —
Лиза здесь. Мой дух мятется...
Лиза! бог свидетель мой,

Что с тобой любови сила
В мрачной жизни среди бед,
Где я зрел лишь скорби след,
Мне путь к счастию открыла.
Жизнь пройдет, как легкий сон,
Рано прелести и радость
И приманчивую младость
Унесет несытый Крон.
Поспешим же, хоть украдкой
От коварных злых людей,
На заре счастливых дней
Насладиться жизнью краткой.
Слышишь, друг мой, соловей
Наше счастье воспевает,
Вся природа прославляет
Упоенье юных дней;
Всё приманкой страсти дышит,
Всё вокруг поет любовь,
Тайный огнь волнует кровь,
Лиза слов моих не слышит,
Взор слабеет, смолкнул вздох.
Я пью сладостный восторг...

1810-е годы

18. ИДИЛЛИЯ

Как можно свободу на цепи менять?
Утехи Амура холодным Гименом
Навеки сковать?
Восторги и радость, нам данные небом,
Друг милый, Шарлота, потщимся продлить.
Здесь всё ненадежно: и прелесть и радость
Как миг улетят.
Доколе лелеет огнистая младость,
Доколе несытый Сатурн чередой
Не сгубит улыбку, румянец весенний,
Доколе с тобой
Присутствует добрый невидимый гений
И юноша страстный любовию полн, —
Дотоле, Шарлота, ликуй безмятежно
И на море челн
Средь тихой погоды на вал ненадежный
С неверным желаньем стремись удержать.
Холодных, коварных людей осужденье
Как можно внимать?
Их радость — порочить любовь, наслажденье.

1810-е годы

Автограф незавершенного послания А. С. Пушкина к В. Ф. Раевскому (1822).
Два рисунка внизу — профили Раевского.

19. К ЛИДЕ

Давно ли с мирною душой
И с сердцем, в выборе свободным,
Я с чувством к красоте холодным,
О Лида, говорил с тобой?
Среди собраний многолюдных
Мой взор тебя тотчас от прочих отличил,
И я тебя хвалил,
Не зная страсти безрассудной!
Где делись радость и покой
И равнодушное сужденье? —
Исчезло ослепленье —
О Лида! Глас немеет мой,
И сердце пылкое еще сильнее бьется,
От страсти юный дух мятется...
Ты всех своею красотой
Подруг, о Лида, затмеваешь!
И юношей собор улыбкой восхищаешь,
И все стремятся за тобой...
Какое для моей души очарованье
Питать любови жар, с любовью упоенье!
Взгляни на друга нежных муз
И цепи разорви прекрасною рукою,
И награди меня улыбкою одною
В замену тяжких уз!..

1810-е годы

20. К НЕЙ ЖЕ

Что значит взор смущенный твой,
И сердца страстное биенье,
И непритворное волненье? . .
Скажи, о Лида, ангел мой!
Давно ль на ложе сладострастья
Блаженства я испил фиал
И к груди страстной прижимал
Тебя, как сын веселый счастья?
Я зрел румянец алый твой
И груди белой колебанье,
Твое смущенье, трепетанье,
Когда прелестною рукой
Ты взоры робкие скрывала
И мне свободы не давала
Ступить порочною стопой
На ложе кротости невинной. . .
Мой дух любовию пылал,
Я счастья робко ожидал
И в страсти сильной, непрерывной
Нетерпеливою рукой
Отдернул полог сокровенный
И розу, полную весной,
Сорвал — в завет любви святой,
Мечтой блаженства увлеченный. . .
Я полный кубок счастья пил
Средь неги страстной и волненья,
На ложе розовом забвенья
Мой жребий временный хвалил! . .

Но время счастья быстро мчится,
Денницы быстро луч блеснул:
Нам должно было разлучиться,
Ты спала, Лида, я взглянул. . .
И прелестей твоих собор,
При свете слабом обнаженный,
Лишь дымкой легкой сокровенный,
Очаровал мой дерзкий взор.
Но я, как узник страсти нежной,
Искал свободы от цепей
Средь роз душистых и лилей. . .
На груди страстной, белоснежной.
Исчез твой тихий сон как миг,
И ты в объятиях моих
С невольным ропотом взглянула,
Слеза в очах твоих блеснула. . .
И я, смущенный, робко ждал
Минуты грозной разлученья
И в миг счастливый упоенья
<Давно ль> тебя лобзал?..
И в неге тайной пресыщенья
В восторгах страсти утопал?..
О Лида! Прочь твое роптанье!
С тобою гений добрый твой!
Пусть время хладною рукой
Грозит прервать очарованье
Любви и счастья юных лет.
Исчезнет всё, как ранний цвет,
Исчезнет страсти ослепленье,
Минутой надо дорожить. . .
И непрерывно радость пить
Из полной чаши наслажденья!

1810-е годы

21. ЧАС МЕЛАНХОЛИИ

Меня ничто не веселит,
Я счастья под луной не знаю —
Средь игр лишь горести встречаю,
Покой всегда меня бежит.
Увы! в мечтаниях одних
Зарю дней ясных представляю,
Но где она, того не знаю.
С собою сам, в слезах моих,
Себе отраду обретаю.
Ничто мне в мире сем не льстит,
Средь юности тоской убит.
Увы! не знаю наслаждений,
Любви опасных обольщений.
Для красоты и дев младых —
Угас мой взор, огнь чувств моих,
И время медленной рукою
Длит жизнь. Под тучей громовою
Удел мой горесть испытать.
Стремлюсь я к вечному покою,
Хочу под гробовой доскою,
Что есть бессмертие, узнать.
Почто мне в цвете дней моих
Страдать назначено судьбою?
Надежда, я забыт тобою,
Не вижу радостей твоих.
О друг, товарищ огорченный,
Почто не вместе я с тобой?
Почто час грозный, роковой,

Час гибельных моих мучений
Делить не можешь ты со мной?
Сей ад в душе, тоска сердечна,
Предчувства глас — быть может, вечно
Я не увижуся с тобой.
Мой гроб открыт, и червь голодный
Спешит мой синий труп глодать,
Скелет останется лежать
В могиле мрачной и холодной;
Не буду я тогда роптать
На рок бесчувственный, жестокий —
Я буду мертвый, одинокий. . .
Но буду ль я тогда страдать?
Никто винить меня не будет,
Враги забудут осуждать
И — следственно — могу ль роптать,
Что недруг мой меня забудет?
Я зла не сделал никому,
И зло казалось мне загадкой,
Я часто слезы лил украдкой —
И сердцу верил одному;
В душе моей явились страсти,
И счастья свет, как миг, протек,
Со тьмой явилися напасти, —
Неумолим жестокий рок!
Злой яд кипит в душе моей
И дух унынием томится.
Ах! Долго ль казнь моя продлится,
Дождуся ль в жизни ясных дней? . .

1810-е годы

22

Так ложною мечтой доселе ослепленный,
Напрасно мыслил я о счастливых часах.
Тебе ль знать радости? Твой разум заблужденный
Не мог предузнавать о будущих бедах,
Давно назначенных губительной судьбою;
Лишь смерть желанная спасительной рукою
Тебя освободит от горестей твоих!
Тебе ль переломить судьбы определенье
И силой Сильного избегнуть назначенье?
Исчезнули мечты, я счастлив был лишь миг,
И счастлив только заблужденьем,
Которое, как вихрь, исчезло мановеньем.
Ни ласки нежные, ни кротость, ни любовь,
Ни одинакая текущая в нас кровь —
Ничто не умягчит дух злобный и враждебный!
А я, не опытом, безумный, увлеченный,
Предвидеть будущих несчастий не возмог.
Кто ж этому виной? Я сам иль сильный бог.

1810-е годы

23. МЕНАЛК

Эклога

Один, уединясь под дубом наклоненным,
Где тихий ручеек струи свои катил
И тихим ропотом к забвенью приводил,
Меналк задумчивый со взором потупленным,
Оставя посох свой, овечек и свирель,
Так тайну скорби пел:

«Жестокая судьба, где дней моих отрада?
Где радость юных лет, о коей я мечтал?
Как в тучах солнца луч, мне счастья свет пропал.
В замену радостей мне слезы лить — награда,
Напрасно юная Корина милый взор
Ко мне наедине с улыбкой устремляет:
Ее старания и нежный разговор
В груди еще сильней тяжелый вздох стесняет.
Бесчувственный! Вчера, томимая тоской,
Печальным голосом она еще сказала:
«Меналк! Мой милый друг, что сделалось с тобой?
Ты плачешь? — И слеза из глаз ее упала. —
Ужель не видишь ты забавы пастухов,
Их радость общую, шум песней, хороводы,
Мое томление, мою к тебе любовь?
Чего недостает тебе, скажи? . .» — Свободы!
Как пленник, средь оков,
От братий, от друзей в край дальний увлеченный,
В пустынной Таврии, средь грубых пастухов,
Жестокою судьбой нежданно занесенный,
Я должен слезы проливать.

Ни милой родины сияние денницы,
Ни голос утренний приветливой певицы
Сюда умерить грусть мою не долетят.
Жестокий корифей устав моих страданий
Бесчувственной рукой до гроба начертал
И отческим полям колючий терн устлал
Мой путь, лишив меня и самых ожиданий.
Почто не скрылся я под дружеский покров,
Когда гремел вдали гром бурный предо мною?
Почто я тешился обманчивой мечтою
И тихо ожидал дней ясных средь громов?
Стада несчетные среди лугов шелковых,
Сады, где сочный плод деревья бременит,
Поля, что жатвою Церера золотит,
Пруды зеркальные, для рыб златых оковы,
Несут годичный дар тому, кто бед виной.
Но в доле бедственной сравнюсь ли я с тобою?
Рука богов хранит страдальца под грозою,
Ты в счастьи, но страшись их мщенья над тобой!»

1810-е годы

24. ПЕСНЬ ПРИРОДЕ

О музы кроткие, простите дерзновенью
Певца безвестного, летящего на Пинд
Не лавры пожинать в награду песнопенью,
Но видеть ваш привет, улыбку пиерид!
Природе всеблагой слагаю песнь хвалебну.
В благоговении, с поникшей головой,
Объемлю таинство и стройность совершенну!
И духом возношусь — превыше тьмы земной!

1810-е годы

25. СЕТОВАНИЕ

В младенчестве моем я радости не знал.
Когда лишь с чувствами, с невинностью знакомый,
К родителям моим я руки простирал,
Врожденной добротой влекомый,
Я нежной ласки ожидал.
Увы! Тогда мой взор суровый взгляд встречал.
Я плакал, но еще несчастия не знал!
В те дни, как чувствами природой оживленный,
Я помнить стал себя, предметы различать,
Стал чувствовать добро, — *незнаньем увлеченный,*
Я мнил любезных мне с восторгом обнимать!
Но, ах! несчастного удел определенный
Лишь горести встречать.
Я плакал, но еще мог слезы забывать!..

1810-е годы

26. РОПОТ

Где вы, о призраки счастливых обольщений,
Куда сокрылися восторги и любовь?
Я вижу тень одну прошедших наслаждений!..
Светильник гаснет мой, и леденеет кровь!..

На то ли Прометей рукою дерзновенной
Похитил у богов дар жизни, огнь святой, —
Чтоб житель сей земли, кругом несовершенной,
Терял сей самый дар с рассветшею зарей?

Давно ли, девами на играх окруженный,
Я им, краснеяся, безмолвствуя, внимал!
И, Терпсихорою в круг шумный увлеченный,
С прикосновением взор робкий опускал.

Сколь юность сладостна беспечностью златою!
Души исполнена восторгов и собой, —
Ласкала прихотям, невинностью самою,
Являя всюду рай, блаженство и покой!

О сладострастие, восторг неизъяснимый!
Могу ль изобразить сей тихий, сладкий жар,
Стремленье робкое души нетерпеливой...
И упоение — богов чистейший дар!

Я помню первое свиданье, дерзновенье...
Коснулся... мертвый хлад по членам пробежал.
И огнь его сменил, и бурных чувств горенье
Слабело, гаснуло... и дух мой исчезал!

Но к жаждущим устам коварный сын Киприды,
Как нектар, страшный яд улыбкой подавал,
И цепи грозные, под блеском роз сокрыты,
Со взором радостным на чувства налагал!

И чувства гаснули в пучине заблуждений...
Неопытный, я тек легчайшею стезей
К причине гибельной минутных упоений
И жертвой сделался безмерности страстей...

О Геба юная, услышь мое моленье
И в чувствах воскреси почти погасший жар!
Дай силу прежнюю и право наслажденья, —
Умеренность — тебе мой будет первый дар!..

1810-е годы

27. К СЕЛЬСКОМУ УБЕЖИЩУ

Смиренных душ приют, безбедная обитель,
Меня мой гений-покровитель
Под сень твою сокрыл от сильных бурных бед.
Я рано жизнию ненастной утомился,
Встречая пред собой гонений мрачный след,
И посох путничий в руках моих сломился.

Оставя для других блеск пагубных честей,
Под кровлею твоей
Ужель я не найду желанного покою?
Ужели, брошенный на жертву бурных волн
Бесчувственной судьбою,
О скалу бедствий злых мой раздробится челн?

Нет, нет! Здесь счастие прямое обитает,
Здесь сон предчувствами меня не устрашает,
Здесь голос петела и трели соловья,
При блеске утреннем природы,
Приятный, легкий сон уносят от меня
И с каждым днем мой дух живит огонь свободы.

Фортуна в жизни сей
В удел мне не дала ни злата, ни честей
И путь мой иглами терновыми покрыла,
Зато природа в дар мне тайну стройно петь
На лире Фебовой открыла,
Чтоб в ней усладу зреть,
Чтоб ей хвалы греметь.

Природе-матери мое благодаренье,
Фортуне, и чинам, и золоту презренье.
Пускай мечтатели спешат *надежд* к концу
И прихотливый рок о *благе* умоляют,
Пусть курят фимиам неверному слепцу
И с трепетом его веленья исполняют, —

В уединении моем
Мне чужд тот гибельный ярем,
Который тяготит безумцев ослепленных.
Я видел бурный свет. Я видел в нем людей,
У коих на сердцах, от злобы закаленных,
Таится страшный яд для ближних, для друзей.

Под небом неродным назначено судьбою
Мне примирение с собою
И след поросший зреть к обители отца.
Но будь благословен стократ приют смиренный,
Где нежат радости свободного певца —
Среди природы оживленной!

1810-е годы

28. ОСЕНЬ

Идиллия

Давно ль природа воскресала
Из мертвой тишины
И юная весна рукою рассыпала
По бархатным лугам душистые цветы?
Давно ли голос филомелы
Авроры золотой приветствовал приход
И сельских граций хоровод
В забавах воспевал природу, май веселый?
Утихли песни их, пернатых смолкнул хор,
И птицы стаями в край теплый отлетают,
Туманы серые долину покрывают,
И листья сбросил бор!
Свирели стройный звук в полях не раздается,
Ветр буйный с севера несется,
И хладный дождь шумит. . .
Усталый селянин под кровлею смиренной,
От шума удаленный,
Плоды трудов своих с родной семьей делит.
Цветы поблекшие, деревья обнаженны,
Сей молчаливый вид природы, скрытой в мгле,
Изображает путь вечерний утомленных
Страдальцев на земле.
И нам назначено таинственной рукою
Премену быструю невидимо узнать,
Зреть радость и восторг рассветшею зарею,
Дней в полдень жребия превратность испытать —
И скользкою стопой стремиться к назначенью! . .

Счастлив, стократ счастлив, кто поздних дней приход
И солнца ясного последний оборот
Встречает, не страшась, под дружескою сенью,
Кто сильных тайных мук на сердце не узнал,
Чей челн покойно тек вдали подводных скал,
Вдали от непогод и бурных треволнений,
Чей кормчий был — устав свободы золотой
И цель стремления — природа и покой.
Стезей неровною опасных приключений
Куда стремимся мы за славою пустой?
Невольники сует, страстей, предубеждений,
Дает ли слава нам и благо, и покой,
И право чистых наслаждений?
Нет, слабый человек родится для забот.
С издетства от святой природы отвыкает,
Его на скользкий путь свет пагубно зовет,
Где ослепление умами управляет,
И век его как сон невидимый летит,
Который изредка мечтою сладкой льстит,
А чаще — мрачные виденья представляет. . .
И парки лютые, прервавши жизни нить,
Его для вечности сокрытой пробуждают!

1810-е годы

29

Нет, нет, не изменюсь свободною душою
И в самой стороне приветливых цирцей,
Где взоры их горят под дымкою сквозною
Желаньем, негою и пламенью страстей,
Где воздух, кажется, любови жар вдыхает.
Взлелеянный в чаду пороков сибарит
Пред девой каждою пусть выю преклоняет
И, низкий раб страстей, душой порочной спит.
Мой друг, я буду твой, не изменюсь душою.
И чувства юные, восторг и пламень мой,
И ложе роскоши не разделю с другою.
И будет в ревности упрек напрасен твой.

1810-е годы

30

О милая, прости минутному стремленью:
Желаньем движимый причину благ познать,
Могу ли, слабый, я всесильному влеченью
Природы-матери в борьбе противустать?
И чувства покорить холодному сужденью?
Лауры пламенный певец,
Лаурой вдохновенный,
При <плесках> лавровый венец
В награду получил за свой талант смиренный!
Поэту юному, мне ль вслед ему парить?
Бессмертие удел фено́мену поэту!
Я не могу, как он, быть изумленьем света,
Но пламенней его могу тебя любить!

1810-е годы

31. ОБЕТ

Еще румянцы на щеках,
Во взорах сладострастье,
Желанье, роскошь на устах
Не погасило счастье.
Пускай бессмысленный совет
Внимает малодушный —
В ком страсти есть, в том страха нет;
Стыдитесь быть послушны
Рабам, отжившим под луной;
Здесь парками забыты,
Они забыли жребий свой
И страшный брег Коциты!..
Друзья! мы смерть предупредим
На ложе упоенья
И клятвенный обет дадим —
Не ждать чредой явленья.
Скрепим и длани и сердца!
С бестрепетной душою
Испьем фиял утех до дна
И ступим в гроб ногою...

1810-е годы

32. К ЛИРЕ

Когда под тению отеческих садов
В часы беспечности и радости счастливой
Коснусь к твоим струнам и песни звук игривой
Не будет славы ждать средь будущих годов, —

О лира! я молю в минуту вдохновенья,
Когда полет ума, восторг, воображенье
Ничтожной суеты превыше воспарит, —
Да сладкогласием твой звук вдали гремит!

Средь бранных непогод во дни мои младые
Я Вакха воспевал и ласковых цирцей,
И взоры страстные, и локоны густые,
Развиты на плечах Глицерии моей...

Не ты ль причина услажденья
Громодержавного Зевеса на пирах?
И Феба самого на стройных раменах
Убор и украшенье?

О верный друг моих задумчивых часов!
Внимай всегда, внимай певца молящий зов!..

1810-е годы

33. ПОДРАЖАНИЕ ГОРАЦИЮ

Мой век — как день туманный
Осеннею порой
Пред бурей и грозой —
Средь мрака и забвенья
Течет без возвращенья,
Печалью омрачен.

Ни солнца свет лазурный,
Ни бледный свет луны,
Ни радости весны,
Ни голос филомелы,
Ни нимфы взор веселый
Меня не веселят.

Напрасно к наслажденью
Прелестный Ганимед
Меня с собой зовет!
О юноша счастливый!
Твой взор полустыдливый
Опасен, но не мне.

Ни клич друзей веселых
В час вакховых пиров,
При голосе певцов,
При шуме упоенья,
Меня на путь веселья
Опять не воззовет!

И взор вельможи тихий,
С улыбкой пара слов
И вслед ему льстецов
В приязни уверенье —
Вселяют лишь презренье
К невеждам и льстецам!

От почестей ничтожных —
Средь марсовых полей,
Где братий и друзей
Струится кровь рекою, —
Мой взор, увы, с слезою
Далеко отвращен!

Но, бури уклоненный,
Я радуюсь мечтой!
И тихий голос свой
В минуты вдохновенья
Сливаю с песнопеньем
Божественных певцов!

Вторая половина 1810-х годов

34. ПРИЗНАНИЕ

Хотели знать тому причину,
Что в возрасте цветущих лет
Наскучил мне подлунный свет,
Что я без страха жду кончину?
Внимайте! Истина пером
Моим почти всегда водила.
Еще тоска не изнурила
Мой дух, пылающий огнем, —
Огнем счастливым песнопенья!
Лиша меня телесных сил,
Еще Сатурн не истребил
Восторг и силу вдохновенья!

Едва шестнадцатой весной,
Как сын природы сильный, вольный,
Собой и жребием довольный,
Я свет увидел пред собой
И, обольщенный блеском славы,
Честей наружной мишурой,
Уже протоптанной тропой
Спешил на путь *войны* кровавой.
Я видел груды падших тел,
Свист пуль и ядер направленье!
И сам безумием горел.

С холодным взором созерцал
Я рока гибельные кары —
И стон, убийства и пожары,
И сам себя не узнавал!

Прошли минуты заблужденья,
И я вдали увидел свет;
Оставя мне несродный след,
Спешил в пучину *наслажденья.*
И вдруг неопытным очам
Толпа прелестниц появилась,
И в сердце пылком страсть родилась:
Я пал к венериным стопам! ..

Итак, осьмнадцатой весною
Я дань неверным приносил,
В любви всё благо находил
И страсти жертвовал собою.
Не раз в диванной вечерком
При бледном отсвете лампад,
Страшась завистливых преград,
Я рай любови пил тайком.
Не раз блестящий луч денницы
Меня с восторгом заставал
Иль сон роскошный прерывал
На персях пламенной девицы.

Не раз пылающая кровь
Меня томила, волновала
И к неге новой наклоняла.
Я пил и счастье и любовь!
Увы! Почто искать измены?
Порочный! Я бросаю взор
На жриц венериных собор
С желаньем сильным перемены —
Я с ними страсть мою делил...
Вдруг гаснет чувство наслажденья,
Здесь кубок полный пресыщенья,
Безумный! я до дна испил...

Мне цвет утехи изменил,
И я, поблекший, утомленный,
Болезнью черной изнуренный,
По свету, как мертвец, ходил
И, слабые бросая взгляды,
Повсюду скорбь и мрак встречал,

Распутниц злобных проклинал,
И сгибнул самый луч отрады!
Брожу с полмертвою душой,
И слабнут ноги, меркнут вежды,
К возврату счастья нет надежды,
Я вижу камень гробовой!

Но вот рукою Эскулапа
Исторгнут я из-под косы.
Погибни! Скорбные часы
Пиров! В обитель приими!
Природа для меня цветет,
Я ею снова восхищаюсь
И снова в замыслах теряюсь:
Где благо верное живет?..
То новый <*нрзб.*> питьем целебным
Мне жизнь для жизни возвратил;
Божественный я нектар пил
Со вкусом, к роскоши врожденном...

О Вакх! Тебя у ног твоих
Я полным кубком прославляю!
С тобой невольно забываю
Причину беспокойств лихих:
Твой глас скорбей моих награда!
Среди собратий, на пирах,
Я трезвых обращаю в страх!..
Мой друг, жрецам твоим отрада!
Отведайте со мною сил
А<раку> иль вина напиться?
Мой дух не устыдится, —
Я, други, мертвой чашей пил!

Не раз бутылки исчезали
В одну минуту предо мной,
Не раз погребщики толпой
Меня с расчетом штурмовали.
Где есть вино — там есть и ум.
Не лез в карман я за словами,
Простыми, краткими речами
Я унимал бурливый шум.
Конечно бы, Катон и Цицерон

Мне в красноречии дивились,
Когда вино и пунш струились,
Когда я слышал рюмок звон!..

Я пью, и всё рекой струится
Бордо, рейнвейн и вендеграв.
Но ух! Средь радостных забав
Весь свет вокруг меня вертится...
Итак, я много, много пил
И до того уже распился,
Что чувств и разума лишился
И хуже твари дикой был!
Ланиты пухлые пылали
Румянцем синим, тусклый взгляд
Являл там влитый в сердце яд,
И члены слабые дрожали.

Стрельба и сильный лом в ногах,
От пищи самой отвращенье,
Средь шуму и забав томленье
И в сердце мертвом — тайный страх
Меня к постели проводили.
И я двадцатою весной
Проклял и жизнь и жребий злой,
Когда недуги посетили
Меня со всех сторон толпой.
Увы! На костылях согбенный,
Как старец, веком удрученный,
Я жил надеждою одной!

О Аристиппы! Эпикуры!
Где ваше благо под луной?
Смотрите, как бегут толпой
К Харону ваши креатуры!
Но всё не вечно. От людей
Сокрыт их жребий неизвестный.
Какой-то чарою чудесной
Моих остаток хилых дней
Врач смелый снова укрепляет.
Но век забав и игр протек,
Всему приспел урочный срок:
Меня ничто не восхищает!

Я видел часто, как блистает
Стекло в оправе золотой;
Я видел, как безумцев рой
В среду величия ступает!
Я видел подлость, дерзость, месть,
Которая в венце сияет!
И как безумец унижает
Таланты, разум, правду, честь!
Презренье им! .. Такой стезею
Могу ль бессмертье получить? ..
Я был моей отчизны щит,
Теперь пора спешить к покою!

Под кровом родины святой
С пером и книгами в беседе
Я верный путь найду к победе,
Не льстя наружной мишурой!
Глупцов оставя рассужденье,
Льстецов и низких душ содом,
Где чтут безумие умом
И ложь — за истинное мненье,
Где пустословие толпой
Часы у мудрых отымает!
Нет! Нет! В отчизне ожидает
Меня утраченный покой.

Вторая половина 1810-х годов

35. БЕСПЛОДНАЯ ЛЮБОВЬ

Вдали от милых фей задумчивый брожу
И силу верного рассудка отвергаю;
На вакховых пирах потупя взор сижу
И трезвый, други, вас за чашей оставляю.

Зельмира гордая признанья нежный глас,
Как бы из милости, с беспечностью внимала;
На слезы, на восторг — с насмешкою отказ;
И двери навсегда безумцу указала...

О боги радостей! зарею пылких лет
Пусть я не ведаю страданий и напасти;
Доступны будьте вы, услышьте мой обет —
И в девственную грудь вдохните силу страсти!

Отвергнуты мольбы... и Вакх, вожатый мой,
Нескладный строй вдохнул в гармонию цевницы,
И музы прочь бегут, и жребий роковой
Начертан на челе цитерския царицы!

Вторая половина 1810-х годов

36. ГЛАС ПРАВДЫ

Сатурн губительной рукою
Изгладит зданья городов,
Дела героев, мудрецов
Туманною покроет тьмою,
Иссушит глубину морей,
Воздвигнет горы средь степей,
И любопытный взор потомков
Не тщетно ль будет вопрошать:
Где царства падшие искать
Среди рассеянных обломков? . .

Где ж узрит он твой бренный прах,
Сын перси слабый и надменный?
Куда с толпою, дерзновенный,
Неся с собою смерть и страх,
По трупам братий убиенных,
Среди полей опустошенных
[Ты вслед стремился за мечтой —
И пал! .. Где ж лавр побед и славы?]
Я зрю вокруг следы кровавы
И глас проклятий за тобой! . .

Полмертвый слабый сибарит,
Мечтой тщеславия вспоенный
И жизнью рано пресыщенный,
Средь общих бедствий в неге спит.
Проснись, сын счастья развращенный!
Взгляни на жребий уреченный:

Тебя предвременно зовет
Ко гробу смерти глас унылый,
Никто над мрачною могилой
Слезы сердечной не прольет.

Вельможа, друг царя надежный,
Личина истины самой,
Покрыл порок корысти злой,
Питая дух вражды мятежной.
Каких ты ждешь себе наград?
Тебе награда — страшный ад;
Народ, цепями отягченный,
Ждет с воплем гибели твоей.
Голодных до́быча червей,
Брось взор ко гробу устрашенный...

Тиран, как гордый дуб, упал,
Перуном в ярости сраженный,
И свет, колеблясь, изумленный
С невольной радостью взирал,
Как шаткие менялись троны,
Как вдруг свободу и законы
Давал монарх — граждан отец —
И цепи рабства рвал не силой, —
Тебя ждет слава за могилой,
Любовь детей — *Тебе* венец!

Вторая половина 1810-х годов

37. ПЛАЧ НЕГРА

Задумчив, устремя к луне унылы очи,
Несчастный сын степей под пальмою родной
Стоял недвижимо в часы глубокой ночи,
И пращ его и лук с губительной стрелой
Разбросаны. И конь, товарищ бурной битвы,
По шелковой траве медлительно бродил.
И пес — сей верный страж, сей быстрый сын ловитвы —
Лежал и лай ночной с боязнью притаил.
И мрак и тишина полуночной природы
Питали мысль его отчаянной мечтой.
И он — сей белых бич, сей гордый сын свободы —
Ланиты оросил горячею слезой!

«Нет радости в мире, нет Зоры со мною!
Я видел ветрила вдали кораблей,
Несущих добычу драгую стрелою
Далеко от милых отчизны полей!
Ах! мог ли провидеть отмщение рока?
Сегодня, зарею, колено склоня
Пред ярким сияньем светила востока,
Я чувствовал благость небесна огня!
От братий веселых чрез дебри и горы
Помчался я к милым родным шалашам,
Ласкаясь мечтою в объятиях Зоры
И в ласках младенца дать отдых трудам!»

Вторая половина 1810-х годов

Любезный [illegible] Милостивый

Ночь негра.

Любезный — Милостивый Государь.

Задумчиво — застрелил из [illegible]

[illegible]

Ленивый сын своих степей, под полночною родной

[illegible], в тени глубокой ночи —

И верный [illegible]

[illegible]

[illegible] и прицел его — [illegible] с отважной стрелой

разбросанный

[illegible] — и конь тоскующий верный битвы —

По шелковой траве медлительно бродил

И пел — сей верный страж — сей богатырь друг ловитвы

Мерно и лай ночной — в большие пределы

Что сделалось с тобой [illegible] былых свободы?

[illegible]

[illegible]

Увы! [illegible] изгнанник [illegible]

Погибли для него все радости природы.

обзор взор.

И мрак и тишина полуночной природы

Ни тело [illegible] мысли его отчаянной

И он — сей Лев, был — сей гордой

Лишь [illegible] — горячею слезой! —

38. ПУТЬ К СЧАСТЬЮ

Шумите, волны! ветр, бушуй,
И, тучи черные, вокруг меня носитесь!
Мой ясен взор, покоен дух,
И чувства тихие не знают страсти бурной,
И я узнал покой
В свободе золотой!
Стремитесь на войну, сыны побед и славы!
Кровавый меч не нужен мне:
Храним пенатами, я цену наслаждений
Близ милых мне опять узнал;
Под сению родною
Здесь счастие со мною.
Опасен свет — и радость в нем
Подвержена всегда судьбине переменной.
Под тенью лип покоюсь я,
Вкушая сладкий мед, из милых рук налитый;
И мысль и голос слов
Не ведают оков!
Пусть среди роскоши Лукуллы утопают:
Их жизнь — не жизнь, но мрачный сон;
Их участь славная достойна состраданья;
Им чужд покой — и бедствий тьма
Тревожит наслажденья
В минуты сновиденья.
Не слышен глас Зоилов мне,
И пышный, ложный блеск меня не обольщает;
Пускай сатрап дает закон
Искателям честей улыбкою одной!

Здесь с музою моей
Я не зову честей!
Хотите ль, смертные, путь к счастью сокровенный
В сей жизни временной найти?
Покиньте замыслы к бессмертию ничтожны
И бросьте лавр и посох свой —
В объятиях природы,
Пред алтарем свободы.

<1819>

39. РАЗЛУКА

Денница ли взойдет — она напоминает
Разлуку горькую и скорбный жребий мой!
Сей самый луч мою Шарлоту освещает, —
Гордись, светило дня, безвестной красотой!
Повеет ли зефир под тению древесной —
Его мой ищет взор, душа летит вослед. . .
Быть может, там ласкал он грудь моей прелестной
И в резвости своей забыл принесть ответ.
Быть может, в этот миг взор милыя унылой
В светиле полночи блуждает, как и мой, —
И мысль, в один предмет сливаясь тайной силой,
Живит и прошлое, и будущность мечтой!

<1819>

40

Пришлец! здесь родина твоя —
Впервые светлая заря
Здесь взор твой озарила,
Здесь колыбель твоя была
И праотцев твоих могила!
Здесь первые дары природа излила
На юношеский ум беспечный, откровенный,
Здесь в жертву бурных бед, судьбою обреченный,
Ты самовластия не знал еще страстей —
Но буря над тобой поникла грозовая...
И, милые поля отчизны оставляя,
Оставил навсегда ты мир невинных дней!
Здесь те ж источника резвящиеся воды,
Близ коих я в часы туманной непогоды
Смотрел на радужный восход
И взором измерял стремленье туч бегущих
Иль в утро летнее лазурный небосвод
Сличал с поверхностью зыбей быстротекущих,
То ж солнце, тот же дня и вечера обзор,
Те ж мирные и рощи и долины...
Почто ж унылый взор
Не видит прежней в них пленительной картины?
Погибло всё, как сон с младенческой мечтой!
Утрата сильная душевныя свободы
Разнообразное величие природы
Слила для чувств под цвет и грубый и простой!

Конец 1810-х годов

41. ЭЛЕГИЯ I

Раздался звон глухой... Я слышу скорбный глас,
Песнь погребальную вдали протяжным хором,
И гроб, предшествуем бесчувственным собором.
Увы! То юноша предвременно угас!
Неумолимая невинного сразила
Зарею юных дней
И кров таинственный, неведомый открыла
Для горести отца, родных его, друзей.
Ни плач, ни жалобы, ни правое роптанье
Из вечной тишины его не воззовут.
Но скорбь и горести, как легкий ветр, пройдут.
Останется в удел одно воспоминанье!..
Где стройность дивная в цепи круговращенья?

Где ж истинный закон природы, путь прямой?
Здесь юноша исчез, там старец век другой,
Полмертв и полужив, средь мрачного забвенья
Живет, не чувствуя ни скорби, ни веселья...
Здесь добродетельный, гонимый злой судьбой,
Пристанища себе от бури и ненастья
В могиле ждет одной...
Злодей средь роскоши, рабынь и любострастья
С убитой совестью не знает скорби злой.

Как тучей омрачен свет ранния денницы,
Дни юные мои средь горести текут,
Покой и счастие в преддверии гробницы
Меня к ничтожеству таинственно ведут...
Но с смертию мой дух ужель не возродится?
Ужель душа моя исчезнет вся со мной?

Ужели, снедь червей, под крышей гробовой
Мысль, разум навсегда, как тело, истребится?
Я жив, величие природы, естество
Сквозь мрак незнания, завесу сокровенну,
Являют чудный мир, и в мире — божество!
И я свой слабый взор бросаю на вселенну,
Порядок *общий* зрю: течение светил,
Одногодичное природы измененье,
Ко гробу общее от жизни назначенье,
Которые не кто, как Сильный, утвердил.
Почто же человек путем скорбей, страданья,
Гонений, нищеты к погибели идет?
Почто безвременно смерть лютая сечет
Жизнь юноши среди любви очарованья?
Почто разврат, корысть, тиранство ставят трон
На гибели добра, невинности, покою?
Почто несчастных жертв струится кровь рекою
И сирых и вдовиц не умолкает стон?
Убийца покровен правительства рукою,
И суеверие, омывшися в крови,
Безвинного на казнь кровавою стезею
Влечет, читая гимн смиренью и любви!..
Землетрясения, убийства и пожары,
Болезни, нищету и язвы лютой кары
Кто в мире произвесть устроенном возмог?
Ужель творец добра, ужели сильный бог?..
. . . .
. . . .
. . . .
Но тщетно я стремлюсь постигнуть сокровенье;
Завесу мрачную встречаю пред собой —
И жду минуты роковой,
Когда откроется мрак тайный заблужденья...
Никто не вразумит, что нас за гробом ждет,
Мудрец с унынием зрит в будущем истленье,
Злодей со трепетом истление зовет,
Бессмертие души есть страх для преступленья,
Измерить таинства и Сильного закон
Не тщетно ль человек в безумии стремится?
Круг жизни временный мгновенно совершится,
Там — благо верное, а *здесь* — минутный сон.
1819 (?)

42. ЭЛЕГИЯ II

Шумит осенний ветр, долины опустели!
Унынье тайное встречает смутный взор:
Луга зеленые, дубравы пожелтели;
Склонясь под бурями, скрипит столетний бор!
В ущелья гор гигант полночный ополчился,
И в воды пал с высот огнекрылатый змий. . .
И вид гармонии чудесной пременился
В нестройство зримое враждующих стихий,
С порывом в берега гранитные плескает
Свирепый океан пенистою волной!
Бездонной пропастью воздушна хлябь зияет,
День смежен с вечностью, а свет его — со тьмой! . .

Таков движений ход, таков закон природы. . .
О смертный! Ты ль дерзнул роптать на промысл твой?
Могущество ума, дух сильный, дар свободы
Не высят ли тебя превыше тьмы земной? . .
Скажи, не ты ль дерзнул проникнуть сокровенье?
И Прометеев огнь предерзостно возжечь?
Измерить разумом миров круговращенье
И силу дивную и огнь громов пресечь?
По влаге гибельной открыть пути несчетны,
В пространстве целого атóм едва приметный?
Взор к солнцу устремя, в эфире воспарить?
И искру божества возжечь уразуменьем
До сил единого, до зодчего миров?
О, сколь твой дух велик минутным появленьем!
Твой век есть миг, но миг приметен в тьме веков;

Твой глас струнами лир народам передастся
И творческой рукой их мрак преобразит,
Светильник возгорит!.. гармония раздастся!..
И в будущих веках звук стройный отразит!..

Но кто сей человек, не духом возвышенный,
Но властью грозною народа облечен?
Зачем в его руках сей пламенник возжженный,
Зачем он стражею тройною окружен?..
Отец своих сынов не может устрашиться...
Иль жертв рыдающих тирану страшен вид?
Призрак отмщения в душе его гнездится,
Тогда как рабства цепь народ слепой теснит.
Так раболепствуйте: то участь униженных!
Природы смутен взор, она и вам есть мать;
Чего вы ищете средь братий убиенных?
Почто дерзаете в безумии роптать
На провидение, на зло и трон порока?..
Жизнь ваша — слепота, а смерть — забвенья миг;
И к цели слабых душ ничтожеству дорога;
. . . .

Свирепствуй, грозный день!.. Да страшною грозою
Промчится не в возврат невинных скорбь и стон,
Да адские дела померкнут адской тьмою...
И в бездну упадет железной злобы трон!
Да яростью стихий минутное нестройство
Устройство вечное и радость возродит!..
Врата отверзнутся свободы и спокойства —
И добродетели луч ясный возблестит!..

Конец 1810-х — начало 1820-х годов

43. СМЕЮСЬ И ПЛАЧУ

(Подражание Вольтеру)

Смотря на глупости, коварство, хитрость, лесть,
Смотря, как смертные с холодною душою
Друг друга режут, жгут и кровь течет рекою
За громозвучну *честь;*
Смотря, как визири, пошевеля усами,
Простого спагиса, но подлого душой,
Вдруг делают пашой,
Дают — луну, бунчук и править областями;
Как знатный вертопрах, бездушный пустослов
Ивана à rebours [1] с Семеном гнет на двойку
Иль бедных поселян, отнявши у отцов,
Меняет на скворца, на пуделя иль сойку,
И правом знатности везде уважен он!..
Как лицемер, ханжа, презря святой закон,
В разврате поседев, гарем по праву власти
Творит из слабых жертв его презренной страсти,
Когда невинных стон волнует грудь мою, —
Я слезы лью!
Но если на меня фортуна улыбнется
И если, как сатрап персидский на коврах,
Я нежуся в Армидиных садах,
Тогда как вкруг меня толпою радость вьется
И милая ко мне с улыбкою идет
И страстный поцелуй в объятиях дает
В награду прежних мук, в залог любови нежной,
И я вкушаю рай на гру́ди белоснежной!..

---

[1] Навыворот, в обратном порядке (франц. термин карточной игры). — *Ред.*

Но тщетно в страшных мечтах ищут спасенья -
За всю мучительно встречено пред собой -
В среду минуты вечной
Когда откроются души отчизны заблужденья —
Никто не вразумит что есть во гробе свете,
Мудрец с уныньем врата во будущем лет [illegible]
Злодей сотрет [illegible] завета;
Бессмертие души, это страх уже преступленья
Или врата тайные и [illegible]
Не тщетно ли сильно в будущем стремленье?
Круги времени вечной, смешенье совершен-
__тайны__! Есть вечно и __бездна__ - минутный сон:

Элегия II.

Шумит, шумит веселый ветр, долины опустели!
Уныло ~~[illegible]~~ тайный встречает смутный взор
Луга зелены, дубравы пожелтели;
Сгибаясь под бурей скрипит столетний бор!
Съ ущельных гор сигнает поникший от [illegible]
И во воды [illegible] с высоты [illegible] волной.
И вид гармонии чудесной прелестница
Въ [illegible] природы [illegible] стихий
Съ порывом въ берега грохочет плескаетъ
Свирепый океан пенистой волной!
Бездонной пропасти воздушная и небо вечно
День смерти в вечности, а свет её - со тьмою!...

Таинство в царстве вод, таинство в самой природе...
О смертный! ты ль дерзнуть роптать на промысл твой
Могущего зла, дух сильный, ~~[illegible]~~ [illegible] свободы
Не видишь ли тебе презренна тьма земной?...

(~~[illegible]~~)

Слепой и немой

(подражание французскому)

~~[illegible]~~

Смотри на этого [illegible], [illegible], [illegible], [illegible],
Смотри [illegible] [illegible] [illegible] холодного [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
За громозвучных ~~[illegible]~~!
Смотри как [illegible] [illegible] [illegible]
При [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
Делают [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible].

II Как [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
Иван а [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] на двое [illegible]-
~~[illegible] [illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] и [illegible]
[illegible] на [illegible] на [illegible] [illegible] [illegible]
И правом [illegible], [illegible] [illegible] он!

~~Как [illegible]~~
Как ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible],
В ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~
В слезах [illegible]!

Или в кругу друзей на вакховых пирах,
Когда суждение людей, заботы, горе
Мы топим в пуншевое море,
Румянец розовый пылает на щеках,
И взоры радостью блистают,
И беспристрастные друзья
Сужденью смелому, шумя, рукоплескают, —
Тогда смеюсь и я!
Взирая, как Сократ, Овидий и Сенека,
Лукреций, Тасс, Колумб, Камоэнс, Галилей
Погибли жертвою предрассуждений века,
Интриг и зависти иль жертвою страстей! . .
Смотря, как в нищете таланты погибают,
Безумцы ум гнетут, знать *право* воспрещают,
Как гордый Александр Херила другом звал,
Как конь Калигулы в сенате заседал,
Как в Мексике, в Перý, в Бразилии, Канаде
За веру предают людей огню, мечу, —
На человечество в несноснейшей досаде,
Я слезы лью! . .
Но после отдыха, когда в моей прихожей
Не кредитóров строй докучливых стоит,
Но вестник радостный от девушки пригожей,
Которая «люблю! люблю!» мне говорит!
Когда печальный свет в мечтах позабываю
И в патриаршески века переношусь,
Пасу стада в венце, их скиптром подгоняю,
Астреи вижу век, но вдруг опять проснусь. . .
И чудо новое: Хвостова сочиненья,
Я вижу, Глазунов за *деньги* продает,
И, к довершению чудес чудотворенья, —
Они раскуплены, наш бард купцов не ждет! . .
Иль Сумарокова, Фонвизина, Крылова
Когда внимаю я — и вижу вкруг себя
Премудрость под седлом, Скотинина. . . [1]
Тогда смеюсь и я!

Конец 1810-х — начало 1820-х годов

---

[1] Стих не дописан в рукописи. — *Ред.*

44. САТИРА НА НРАВЫ

Мой друг! в наш дивный век — науками,
искусством,
И россов доблестью, и благородства чувством
Любви к отечеству достойных сограждан,
В наш новый век, когда властитель и тиран
Несметных орд к нам внес убийства и пожары
И провидения испытывал удары,
Сея́ в триумф побед постыдный бег и страх...
И трупы хищников рассеялись в полях,
Когда *прошедшее* из книги современной
Мечом росс вырубал и, лавром покровенный,
Секване начертал постыдный приговор...
Когда вселенной взор
России <быстрый>бег к величью измеряет
И подвиги ее в истории читает, —
Возможно ли! тогда, забыв свой подвиг славы,
Чудесно исказя и нрав и разум свой,
Здесь дети робкие с изнеженной душой
В очах невежества чтут модные уставы,
И наши знатные отечества *столпы*
О марсовых делах с восторгом рассуждают...
С утра до вечера за картами зевают,
А жены их, смеясь, в боскетах нежны лбы
Иноплеменными рогами украшают...
Но свет орангутанг, и мы живем в том свете,
Где дым тщеславия рассудок закурил
И многих мудрецов в паяцы нарядил.
У всякого одно в предмете —

И бедный Ир с клюкой
Под добрый час себя с Юпитером равняет...
И кучи золота, и царства рассыпает,
И наслаждается мечтой!..
Всё в свете допустить возможно,
Но быть игрушкою шутов и обезьян
В сей славный век для нас постыдно и безбожно.
Напрасно умный наш певец,
Любовью чистою к отчизне возбужденный,
И нравам и умам чумы иноплеменной
С войною хочет дать конец!
Мартышка весь свой век не устает кривляться,
Для подражания; бесхвостый, без ушей,
Престанет ли осел кряхтеть и спотыкаться?
Из всех гражданских зол — всего опасней, злей
Для духа нации есть чуждым подражанье,
Но спорить не хочу, смешно в осьмнадцать лет
В уборе дедовском явиться в шумный свет
И с важностью начать другое подражанье.
Но, друг мой! переждем — эпоха началась,
И наше сбудется желанье...
Орел с одним орлом стремится в состязанье.
Гражданства искра в нас зажглась —
И просвещение спасительной рукою
Бальзам свой разольет в болезненных умах,
И с новою зарею
Исчезнет, может быть, еще неверный страх.

Конец 1810-х — начало 1820-х годов

45. 〈 ОТРЫВОК 〉

Там далее: провинциал Минос,
<Он> указательным перстом чертит законы;
С улыбкой важною, поднявши красный нос,
Он проповедует, как межевать законы,
Как Ева и Адам
В раю поссорились за несогласность мненья,
Как Гавриил их бил пребольно по плечам;
Как трудно было им тягаться по судам
За родовое их отцовское именье;
Как был когда-то царь, ему прозванье Петр,
Что первый он завел в России фраков моды;
Что есть орудие — названьем баромéтр...
Что зá морем живут арабы иль уроды...
И все в безмолвии, с преклонной головой
Глаголу мудреца столь важного внимают,
И изредка, когда он скажет вздор пустой,
Они с почтением ему рукоплескают.
И сей великий муж, сей грозный судия,
Уездный меценат и удивленье света,
Из милости свой взор бросает на меня
Наместо пышного ответа.
Представь же, добрый мой и несравненный друг,
Сей свет, исполненный столь дивными умами, —
Там злобу и разврат, а здесь безумцев круг,
Там царедворцев строй с предлинными ушами,
Здесь женщин, дышащих коварством, суетой,
И новых мессалин в нимфóмании злобной...
. . . .

Здесь... едва простым пером
Могу изобразить картину преступлений,
Насильств и ужасов мегеры модной, злой,
Терзающей народ жезлом постановлений.
Кровавый пот с лица, печальный, смутный взор,
Согбенны рамена и впалые ланиты,
И дряхлость ранняя, и вкруг детей собор —
Истлевшим рубищем покрыты;
Шалаш, ни от дождя и зноя и зимой
От вьюг и холода, от бури и ненастья
Не защищаемый и кровлею простой,
И вкруг следы нужды, печалей и несчастья —
Суть призраки тех жертв, которые в трудах
Свой век для гордых чад корысти сокращают
И все сокровища из недр земли, в водах
Для расточения владельцев извлекают!
И, в довершение, невинных дочерей
И юных жен — одно несчастных достоянье —
Влачит к растлению седой прелюбодей
И на уста кладет ударами молчанье!
Но полно, я боюсь, чтоб чувств свободный жар
Не сделал страшною столь важную картину,
Чтоб друга твоего несовершенный дар
Не выразил *не так* ужасных зол причину!!!
Льзя ль видеть бед ярмо и духом не страдать?
Льзя ль в обществе невежд, средь злых
и преступленья,
Где добродетель есть как злоехидный тать,
Где зависть черная под видом снисхожденья,
Где воздух заражен пороков смрадной мглою, —
Льзя ль, говорю, довольным быть судьбою
Льзя ль мизантропии одежду не носить?
Дитя и женщины бегут за мишурою,
А сердце робкое, нетвердый, слабый ум
Утешен призраком и тешится мечтою;
Но человек среди своих великих дум
Зреть должен — истину, прелестну наготою.
. . . .
О, сколько раз с собой
Я в изысканиях терялся отвлеченных,
Здесь видел образец создания смешной,
А там великое — но с целию презренной!..

Напрасно б стал тебе систему созидать
Вслед Канту, Шеллингу и многим им подобным.
Субъект, объект — велит молчать
О пышной глупости всех тварей земнородных.
Я знаю цель мою и сей ничтожный дар,
Дар жизни, связь души с началом разрушенья, —
И слабый мой талант и песнопенья жар
Слабеет с мыслию — минутного явленья.
Никто не вразумил, что нас за гробом ждет,
Ни тысячи волхвов, ни книги Моисея,
Ни мужи дивные, гласящи дивный сброд,
Ни гений Лейбница в листах «Феодицеи».
И червь, и я, и ты, и целый смертный род
Для будущих времен пройдет, как блеск Элиды.
Скажи мне, где народ обширной Атлантиды?
Вот связь — всех сущих здесь и общий сей закон,
Не испытающий в движеньях перемены!
А смертных глупый род, пуская глупый стон,
В веригах алчности, злодейств, убийств, измены
Вседневно к олтарю Химеры вопиет...
И мнит в пустой мольбе обресть свое спасенье,
Бессмертие то здесь, то там в безвестном ждет
И гибнет жертвою скорбей и злоключенья...
. . . .

Конец 1810-х — начало 1820-х годов



46. ⟨ ОТРЫВОК ⟩

Безумцы, оградясь обрядами, мольбой
И верой, следствием вериг предрассужденья,
Чем ближе к крыше гробовой,
Тем злоба их сильней, тем чаще преступленья...
В груди с ехидною, с поникшею главой,
Со взором, алчущим неутолимой мести,
Слепцы под сединой
Идут порокам вслед, как вслед добра и чести!
Страшусь и бегаю от обществ и судей,
Где слышу грозное пифическое мненье,
Смысл многозначащий бессмысленных речей,
Где всё против меня кричит с ожесточеньем:
Не верит кошкам он, не верит чесноку,
Не верит мумии всесильной Озириса,
Не верить он дерзнул спасителю быку
И храмы позабыл священные Мемфиса!

Конец 1810-х — начало 1820-х годов

47. КАРТИНА БУРИ

Солнце покрылось серою мглой,
Тучи, спираясь, быстро несутся...
Вихрь, сотрясая листья с дерев,
С шумом и силой дол пробегает
И воздымает в воздухе прах;
Враны над бором стаей виются,
Нивы клубятся волной.
Подернут горизонт полунощною тьмой,
И молния вдали из бурных туч сверкает;
Перун отзы́вами грохочет за горой,
И эхо гул его в утесах раздробляет!
С ветром холодным падает дождь,
Сосны и ели со скрипом трясутся,
Волны, волнуясь быстрой струей,
Пеною желтой в берег плескают,
Дикие гуси скрылись в тростник;
Шумом внезапным вол устрашенный,
Вкруг озираясь, ревет.

Гигантов бурных строй по высоте летит,
И молния, виясь, кругом во мраке блещет!
Удар удару вслед гром яростный вторит
И смертоносные перуны долу мещет!
Здесь дева робкая дрожит,
Взор старца к небу устремился!
Пловец в волнах погибель зрит,
Оратай в ближний лес сокрылся.

Сильней и ветр и дождь шумит,
Огнь бледный заревом мерцает;
Перун из черных туч летит,
И раздробленный дуб пылает! . .

<1820>

48. К МОЕЙ СПЯЩЕЙ

Ты спишь... и сладостен покой
Любови нежной,
Сон сладкий, безмятежный
Не прерывается печальною мечтой!
В чертах твоих добро с любовию сияют,
Не дар искусства, нет! — природы дар одной, —
И локоны, клубясь по раменам волной,
От смелых взоров грудь стыдливую скрывают.
О, сколько счастия с тобой!
Не знал бы без тебя я в жизни мрачной, бурной,
Что значит радость и покой, —
Из колыбели дней мой жребий пал из урны —
Печаль, томление, борьбу с собой узнать...
О прошлом сожалеть, дней будущих страшиться
И с нетерпением минуты ожидать...
Когда мой путь здесь совершится!..
Но, небо! ты спасло пловца от ярых волн...
И мой разрушенный до половины челн —
В цветущей пристани, где ненадолго, может быть...
Мне суждено сосуд всех радостей испить
Из рук любви — всегда покорной, легкокрылой.
Но радость и любовь, как твой минутный сон,
Цвет юности младой, свирепый скосит Крон;
Взамену радостей, забав и страсти милой
Останутся в удел недуги и печаль...
И мысль от светлых дней, стремясь в безвестну
даль,
Знакомит нас <со> хладною могилой...
Год краток счастия, несносен миг скорбей;

Но <мне> приход его не страшен:
Я милую люблю и милою любим!
Еще взаимности светильник не угашен
Наперекор законам злым.
Спи, милая моя!
С твоим пробудом ясным...
Я обниму тебя с желаньем сладострастным
До бурного судьбины дня!

28 марта 1820

49. ПЕСНЬ НЕВОЛЬНИКА

Пенаты добрые, отчизны берег милый,
Поля родимые, где в юности счастливой
Мой век с беспечностью покойно, мирно тек,
Простите навсегда! Окованный цепями,
Я скорбь делю с слезами,
И сир и одинок!
Страдалец немощный, отец чадолюбивый!
Кто даст тебе приют покойный и счастливый?
Увы! изведать скорбь тебе назначил рок
У гроба хладного вечернею зарею:
Твой сын уж не с тобою,
Он сир и одинок!
Давно ль в обители спокойной, безмятежной
С детьми-малютками и матерью их нежной
Я радости вкушал?.. Но злобный дух пророк
Разлуку горькую с супругой, сиротами —
И я томлюсь цепями,
Я сир и одинок!
Товарищи-друзья! и с вами разлученный,
Не буду более под тенью лип смиренных
Я счастью гимны петь: миг радостей протек!
На чуждой стороне, игралище судьбины,
Я жду бедам кончины
И сир и одинок!

Начало 1820-х годов

ТЮРЕМНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ
1822—1824

50. К ДРУЗЬЯМ В КИШИНЕВ

Итак, я здесь... за стражей я...
Дойдут ли звуки из темницы
Моей расстроенной цевницы
Туда, где вы, мои друзья?
Еще в полусвободной доле
Дар Гебы пьете вы, а я
Утратил жизни цвет в неволе,
И меркнет здесь заря моя!
В союзе с верой и надеждой,
С мечтой поэзии живой
Еще в беседе вечевой
Шумит там голос ваш мятежный.
Еще на розовых устах,
В объятьях дев, как май, прекрасных
И на прелестнейших грудях
Волшебниц милых, сладострастных
Вы рвете свежие цветы
Цветущей девства красоты.
Еще средь пышного обеда,
Где Вакх чрез край вам вина льет,
Сей дар приветный Ганимеда
Вам негой сладкой чувства жжет.
Еще расцвет душистой розы
И свод лазоревых небес
Для ваших взоров не исчез.
Вам чужды темные угрозы,

Как лед, холодного суда,
И не коснулась клевета
До ваших дел и жизни тайной,
И не дерзнул еще порок
Угрюмый сделать вам упрек
И потревожить дух печальный.
Еще небесный воздух там
Струится легкими волнами
И не гнетет дыханье вам,
Как в гробе, смрадными парами.
Не будит вас в ночи глухой
Угрюмый оклик часового
И резкий звук ружья стального
При смене стражи за стеной.
И торжествующее мщенье,
Склонясь бессовестным челом,
Еще убийственным пером
Не пишет вам определенья
Злодейской смерти под ножом
Иль мрачных сводов заключенья...
О, пусть благое провиденье
От вас отклонит этот гром!
Он грянул грозно надо мною,
Но я от сих ужасных стрел
Еще, друзья, не побледнел
И пред свирепою судьбою
Не преклонил рамен с главою!
Наемной лжи перед судом
Грозил мне смертным приговором
«По воле царской» трибунал.
«По воле царской?» — я сказал,
И дал ответ понятным взором.
И этот черный трибунал
Искал не правды обнаженной,
Он двух свидетелей искал
И их нашел в толпе презренной.
Напрасно голос громовой
Мне верной чести боевой
В мою защиту отзывался,
Сей голос смелый пред судом
Был назван тайным мятежом
И в подозрении остался.

Но я сослался на закон,
Как на гранит народных зданий.
«В устах царя, — сказали, — он,
В его самодержавной длани,
И слово буйное «закон»
В устах определенной жертвы
Есть дерзновенный звук и мертвый. . .»
Итак, исчез прелестный сон! . .
Со страхом я, открывши вежды,
Еще искал моей надежды —
Ее уж не было со мной,
И я во мрак упал душой. . .
Пловец, твой кончен путь подбрежный,
Мужайся, жди бедам конца
В одежде скромной мудреца,
А в сердце — с твердостью железной.
Мужайся! Близок грозный час,
И, может быть, в последний раз
Еще окину я глазами
Луга, и горы, и леса
Над светлой Тирасы струею,
И Феба золотой стезею
Полет по чистым небесам
Над сердцу памятной страною,
Где я надеждою дышал
И к тайной мысли устремлял
Взор светлый с пламенной душою.
Исчезнет всё, как в вечность день;
Из милой родины изгнанный,
Средь черни дикой, зверонравной
Я буду жизнь влачить, как тень,
Вдали от ветреного света,
В жилье тунгуса иль бурета,
Где вечно царствует зима
И где природа как тюрьма;
Где прежде жертвы зверской власти,
Как я, свои влачили дни;
Где я погибну, как они,
Под игом скорбей и напастей.
Быть может — о, молю душой
И сил и мужества от неба! —
Быть может, черный суд Эреба

Мне жизнь лютее смерти злой
Готовит там, где слышны звуки
Подземных стонов и цепей
И вопли потаенной муки;
Где тайно зоркий страж дверей
Свои от взоров кроет жертвы.
Полунагие, полумертвы,
Без чувств, без памяти, без слов,
Под едкой ржавчиной оков,
Сии живущие скелеты
В гнилой соломе тлеют там,
И безразличны их очам
Темницы мертвые предметы.
Но пусть счастливейший певец,
Питомец муз и Аполлона,
Страстей и бурной думы жрец,
Сей берег страшный Флегетона,
Сей новый Тартар воспоет:
Сковала грудь мою, как лед,
Уже темничная зараза.
Холодный узник отдает
Тебе сей лавр, певец Кавказа;
Коснись струнам, и Аполлон,
Оставя берег Альбиона,
Тебя, о юный Амфион,
Украсит лаврами Бейрона.
Оставь другим певцам любовь!
Любовь ли петь, где брызжет кровь,
Где племя чуждое с улыбкой
Терзает нас кровавой пыткой,
Где слово, мысль, невольный взор
Влекут, как ясный заговор,
Как преступление, на плаху
И где народ, подвластный страху,
Не смеет шепотом роптать.
Пора, друзья! Пора воззвать
Из мрака век полночной славы,
Царя-народа дух и нравы
И те священны времена,
Когда гремело наше вече
И сокрушало издалече
Царей кичливых рамена.

Когда ж дойдет до вас, о други,
Сей голос потаенной муки,
Сей звук встревоженной мечты?
Против врагов и клеветы
Я не прошу у вас защиты:
Враги, презрением убиты,
Иссохнут сами, как трава.
Но вот последние слова:
Скажите от меня О<рлов>у,
Что я судьбу мою сурову
С терпеньем мраморным сносил,
Нигде себе не изменил
И в дни убийственныя жизни
Немрачен был, как день весной,
И даже мыслью и душой
Отвергнул право укоризны.
Простите... Там для вас, друзья,
Горит денница на востоке
И отразилася заря
В шумящем кровию потоке.
Под тень священную знамен,
На поле славы боевое
Зовет вас долг — добро святое.
Спешите! Там волкальный звон
Поколебал подземны своды
И пробудил народный сон
И гидру дремлющей свободы!

1822

51. ПЕВЕЦ В ТЕМНИЦЕ

О, мира черного жилец!
Сочти все прошлые минуты;
Быть может, близок твой конец
И перелом судьбины лютой!

Ты знал ли радость — светлый мир,
Души награду непорочной?
Что составляло твой кумир —
Добро иль гул хвалы непрочной?

Читал ли девы молодой
Любовь во взорах сквозь ресницы?
В усталом сне ее с тобой
Встречал ли яркий луч денницы?

Ты знал ли дружества привет?
Всегда с наружностью холодной
Давал ли друг тебе совет
Стремиться к цели благородной?

Дарил ли щедрою рукой
Ты бедных золотом и пищей?
Почтил ли век под сединой
И посещал ли бед жилища?

Одним исполненный добром
И слыша стон простонародный,
Сей ропот робкий под ярмом,
Алкал ли мести благородной?

Сочти часы, вступя в сей свет,
Поверь протекший путь над бездной,
Измерь ее — и дай ответ
Потомству с твердостью железной.

Мой век, как тусклый метеор,
Сверкнул в полуночи незримый,
И первый вопль как приговор
Мне был судьбы непримиримой.

Я неги не любил душой,
Не знал любви, как страсти нежной,
Не знал друзей, и разум мой
Встревожен мыслию мятежной.

Забавы детства презирал,
И я летел к известной цели,
Мечты мечтами истреблял,
Не зная мира и веселий.

Под тучей черной, грозовой,
Под бурным вихрем истребленья,
Средь черни грубой, боевой,
Средь буйных капищ развращенья

Пожал я жизни первый плод,
И там с каким-то черным чувством
Привык смотреть на смертный род,
Обезображенный искусством.

Как истукан, немой народ
Под игом дремлет в тайном страхе:
Над ним бичей кровавый род
И мысль и взор казнит на плахе,

И вера, щит царей стальной,
Узда для черни суеверной,
Перед помазанной главой
Смиряет разум дерзновенный.

К моей отчизне устремил
Я, общим злом пресытясь, взоры,

С предчувством мрачным вопросил
Сибирь, подземные затворы;

И книгу Клии открывал,
Дыша к земле родной любовью;
Но хладный пот меня объял —
Листы залиты были кровью!

Я бросил свой смиренный взор
С печалью на кровавы строки,
Там был подписан приговор
Судьбою гибельной, жестокой:

«Во прах и Новгород и Псков,
Конец их гордости народной.
Они дышали шесть веков
Во славе жизнию свободной».

Погибли Новгород и Псков!
Во прахе пышные жилища!
И трупы добрых их сынов
Зверей голодных стали пища.

Но там бессмертных имена
Златыми буквами сияли;
Богоподобная жена,
Борецкая, Вадим, — вы пали!

С тех пор исчез, как тень, народ,
И глас его не раздавался
Пред вестью бранных непогод.
На площади он не сбирался

Сменять вельмож, смирять князей,
Слагать неправые налоги,
Внимать послам, встречать гостей,
Стыдить, наказывать пороки,

Войну и мир определять.
Он пал на край своей могилы,
Но, рано ль, поздно ли, опять
Восстанет он с ударом силы!

1822

52. НА СМЕРТЬ МОЕГО СКВОРЦА

Еще удар душе моей,
Еще звено к звену цепей!
И ты, товарищ тайной скуки,
Тревог души, страданий, муки,
И ты, о добрый мой скворец,
Меня покинул наконец!
Скажи же мне, земной пришлец,
Ужели смрад моей темницы
Стеснил твой дух, твои зеницы?
Но тихо всё... безмолвен он,
Мой юный друг, мой Пелисон,
И был свидетель Абеон
Моей встревоженной разлуки!
Так верю я, о жрец науки,
Тебе, о мудрый Пифагор!
Не может быть сей ясный взор,
Сей разногласный разговор,
Ко мне прилет его послушный
Уделом твари быть бездушной:
Он создан с нежною душой,
Он, верно, мучился тоской...
Как часто резвый голос свой
Он изменял на звук печальный,
Как бы внимая скорби тайной.
О вы, жестокие сердца!
Сотрите стыд души с лица,
Учитесь чувствам от скворца!
Он был не узник — и в темнице.

Летая вольных птиц в станице,
Ко мне обратно прилетал;
Мою он горесть уважал,
Для друга вольность забывал!
И все за то его любили,
И все за то скворца хвалили,
Что он, средь скорби и недуг,
И в узах был мне верный друг.
Что он ни мщения, ни мук
Для друга в узах не боялся
И другу смело улыбался.
Когда ж, как ржавчиною сталь,
Терзала грудь мою печаль,
Кому ж? — скворцу лишь было жаль!
И мнилось — пел мой друг сердечный:
«Печаль и жизнь не бесконечны».
И я словам его внимал,
И друга нежного ласкал,
И вдруг свободнее дышал.
Когда ж вражда со клеветою
В суде шипели предо мною
И тщетно я взывал права,
Он пел ужасные слова:
«Враги иссохнут, как трава».
И были то последни звуки,
И умер мой скворец со скуки!
О вы, жестокие сердца,
Сотрите стыд души с лица,
Учитесь чувствам от скворца!

1824

СТИХОТВОРЕНИЯ ПЕРИОДА ССЫЛКИ
1828—1846

53. ПОСЛАНИЕ К К....ВУ

Изгнанник с маем и весной
Тебя приветствует, друг милый.
Опять зимы безмолвной и унылой
Темничный образ пред тобой
Природы девственной сменился красотой...
А для меня — прошла весна!..
Очаровательной улыбкою она
Тоски по родине, привычного роптанья,
Печальных дум и бед воспоминанья
Не истребит в душе отжившей и немой.
Там, за вершинами Урала,
Осталось всё, что дух питало мой,
И вера и любовь, — я внес сюда с собой
Лишь муки страшные Тантала!
Зачем затворника надежда обольщала?
Зачем алкал он видеть край родной?
Прижать друзей к груди, измученной тоской,
И шестилетнюю неволю,
Борьбу с судьбой, страдальческую долю —
Опять в беседе вечевой,
При кликах радости мятежной,
Забыть за чашей круговой?
Или с любовницей младой
Отдать всё прошлое порывам страсти нежной?..
Зачем коварные мечты
Мой ум младенческий прельщали?

Зачем прекрасные цветы
Над бездной путь терновый застилали?
К чему коварный этот сон?
Я был давно к страданьям приучен, —
Шесть лет дышал темничною печалью
И грозный рок мне грудь сковал
Несчастием, как закаленной сталью.
Зачем я благ земных желал,
Сдружившись с жизнью неземною,
И примирения искал
С людьми и грозною судьбою?
Они смеялись надо мною. . .
О, если б сто подземных жерл
Дохнуло пламенною лавой
На этот род безумный и лукавый!
Без слез, без горести б смотрел
На гибель их, на огненные волны,
И, провидением довольный,
Я б этот час благословлял,
Как будто заблистал мне первый луч денницы.
Но нет! Зачем удар карающей десницы
Противу немощных слепцов?
Они из приторных наемницы сосцов,
Еще повитые, как цепью, пеленами,
Глотали алчными устами
Всё грязное, всё низкое, как прах!
Ярем невольничий — их доля в колыбели,
Болезнь младенчества — их доля в сединах.
Знакомо ль им стремленье к славной цели,
К стяжанию победного венца?
Нет! Нет! Не внятен им волшебный глас певца,
Волнующий возвышенные страсти,
Вливающий небесный дух в сердца
И возвышающий наш дух среди напасти!
В душе бесчувственность и на челе позор,
Пред слабым — власти наглый взор,
И рабство — пред судьбой и силой,
Неверие в устах и бледность пред могилой —
Не есть ли их постыдное клеймо?
Нет! Нет! Не обменю моей жестокой доли
На это славное ярмо,
На эту цепь приманчивой неволи!

Я здесь, сюда коварный рок
Из бурных волн, пучин и бездны
Отбросил утлый мой челнок;
Я здесь, и звук знакомый и любезный
Не тронет слуха моего;
Мой смутный взор и бледное чело
Опять зарей весны не просияют,
Уста мои — лишь ропот и печаль
Невнятным звуком выражают...
Напрасно б взгляд бросал в безвестну даль,
Напрасно б ждал счастливой перемены:
Подземный стон, и вековые стены,
Затвор железный, звук цепей
И тайный зов утраченных друзей
Меня и здесь тревожат в сновиденьи,
И отдаление в моем воображеньи
Не истребит сей пагубной мечты,
И все высокие картины
Природы грозной красоты:
Саяна снежные вершины,
И мрачный вид безвыходной тайги,
Бурана рев и лом, и треск реки,
Подавленной, стесненной в беге льдами,
И торосы, вскипевшие стенами,
Как вековых руин следы,
И племена рассеянной орды,
Полярных дикарей воинственные нравы,
Их разум гибкий и лукавый,
Коварный взгляд, нестройный звук речей;
Повсюду грабежи, убийства как забавы,
И резкие черты и буйный дух людей,
Которых страсти, заблужденье,
Гоненье, клевета, порок и преступленье,
Как крепкое к звену звено,
Сковали в общество одно...
Страна, где каждый дом есть книга приключений,
Где вся земля — отверженных есть дом,
Где Минихов и Меньшикова гений
Ни славой прежнею, ни лавровым венцом
Не различен убийц презренных с долей.
Всё это дивное для смелой кисти поле
Какой-то новостью еще блестит для глаз,

Но мой восторг давно в душе погас.
О милый друг! все прелести чужбины,
Все красоты волшебной сей картины
Не радуют: они не в родине моей.
Скажи, кому отдам сердечные томленья?
Кто мысль мою и тайные движенья
Души поймет? Чей сладкий звук речей
Вольет в больную грудь минутную отраду?
Кто руку даст изгнаннику, как брату?
С кем лето знойное я жизни разделю?
Кто скажет мне, потупя взор стыдливый
И руку сжав рукою боязливой,
Невнятным шепотом прекрасное *«люблю»*.
Цветы поблекшие еще передо мною.
Мне их дала младая дева в дар,
И с ними чувств и тайной страсти жар;
Я взял цветы холодною рукою
И руку ей с признательностью сжал,
И девственную грудь с улыбкой целовал...
Я розы рвал... Но их благоуханье
Далеко ветр противный уносил.
Дерзну ль назвать минутное желанье,
Обманчивый восторг моих душевных сил
Любовью чистою и нежной?
Нет, нет. Любовь — одно мне с верой и надеждой,
Во мне их рок суровый умертвил!
Ты знаешь сам, мой друг, мои страданья,
Ты сам темничною заразою дышал...
Но долго ли твои продлились испытанья?
Ты тягость бытия одну минуту знал...
А я? Могу ль предать прошедшее забвенью!
Оставить всё, что сердце тяготит?
Не я ли веровал с улыбкой в провиденье?
В борьбе с судьбой упал мой хрупкий щит.
Исчезло всё!.. Под сводами темницы
Погиб мой дар с прелестною мечтой!
Невнятен звук моей цевницы —
Согласен он с моей душой;
Дерзну ли трепетной рукой
Завесу истины ужасной
Поднять пред суетной толпой?
Сей труд бесплодный и опасный

Душевных ран не исцелит
И для изгнанника сиянье
Прошедших дней не возвратит;
Мое ужасно championupованье!
Благая вера — вот мой щит,
Души отжившей ожиданья;
Давно прошли, как миг один,
Как сладкий сон, лета мои младые —
И с ними радости земные...
Как счастия беспечный сын,
Близ лар под кровлею родною,
Довольный светом и судьбою,
В моем неведеньи я счастье находил!..
Как вольное дитя природы,
Я только неба видел своды;
И легкий утренний зефир
Эмблемой был моей свободы...
И славы дым, ее кумир,
Для глаз завистливых блестящий мишурою,
С поклонников безумною толпою
Души невинной не прельщал...
Тогда ни следствий, ни начал,
Добра, страстей и преступлений,
В хаосе споров, жарких прений,
Расторгнуть ум мой не алкал.
Мой взор беспечно созерцал
Лишь блеск светил в орбитах их движенья,
В лугах я свежих роз искал.
Не тайны дивной обновленья,
Не свист железа и свинца,
Не гром из медных жерл и стали,
Не лютый в битве клик бойца
Тогда мой робкий слух прельщали, —
Любил я сладостный напев,
Как май, веселых, сельских дев
Под звук задумчивой свирели,
Любил в тени густых дерев
Я слушать птичек нежных трели
Иль звонкий голос соловья...
Любил журчание ручья...
Любил вечернею порой у колыбели
С безмолвием внимать,

Как нежная, сквозь слезы, мать,
Прижав к груди младенца, прорекала
Разлуку с кровлею родной,
Борьбу с людьми, борьбу с судьбой
И провиденье умоляла
Младенцу дать удел благой!..
Прошло неведенье святое!
Мой час пробил!.. В душе моей простой
Все страсти, спавшие в покое,
Вскипели бурною волной!
Недетский взор сквозь мрак густой
Я бросил к новой, тайной цели...
И радость скрылась от очей,
Как в тучах блеск дневных лучей,
Вдали я видел бледный свет,
И скорбь стесняла грудь, ланиты побледнели,
Поблек прекрасной веры цвет,
Сомненья срезанный косою.
О добродетель! пред тобой
Я пал во прах, я слезы лил
И с умилением молил
Отдать мне прошлое, отдать мне мир с собою!
С людьми я мира не просил,
Я их узнал, я их чуждался —
Приветов, ласки их боялся
И дружбы, как вражды крамольной, трепетал.
Я видел, как, укрыв отточенный кинжал,
Мне руки жмет с улыбкою лукавой
И крест на грудь кладет рукой еще кровавой
По человечеству мой брат!
Везде я слышал плач и жалобные стóны,
Я видел, как в пыли потоптаны лежат
Права народные, щит слабого — законы;
С безмолвным трепетом раскрыл
Я Клии крепкие скрижали,
Но хладный пот чело мое покрыл,
Глубокие черты на обагренной стали
Мой жребий царств, народов и царей,
События грядущих дней
И настоящего в протекшем указали.
Давно мне этот мир — как степь безбрежная Сахары,
Где дышит ветр песчаною волной,

Как океан, где грозные удары
Валов не устают греметь над головой.
Мне этот край — одно пространное кладбище,
В котором ищет взор безбедного жилища
Среди преступничьих гробов!
И мой ударит час всеобщею чредою,
И знак сотрет с земли моих следов,
И снег завеет дерн над крышей гробовою;
Весной оттает снег, за годом год пройдет,
Могильный холм сравняется с землею,
И крест без надписи падет!..
Жестокий Крон безжалостной рукою
Разрушит гордые чертоги городов,
Дела героев, мудрецов
Туманною покроет тьмою,
Иссушит глубину морей,
Воздвигнет горы средь степей,
И любопытный взор потомков
Не тщетно ль будет вопрошать,
Где царства падшие искать
Среди рассеянных обломков?..
Куда же мой отвеет время прах?
Где денутся все призраки златые?
Куда отделится таинственное *я*?
Где будет след минутный бытия,
Надежды, суеты, желания земные?
Давно погибло всё, чего мой дух алкал!
Чего ж я жду с отжившею душою?
Кто к жизни мысль страдальца приковал?
И не в родстве ль давно я с прахом и землею?
Не время ли мне сделать шаг вперед
И снять покров с таинственной химеры?
В моих руках светильник чистой веры, —
Он свет в пути моем прольет!..

30 мая 1828

54

Она одна казалась мне мила,
Как роза свежая весною;
Как роза юная, цвела
Вдали от света, бурь и зла
Она прекрасною душою.
Улыбка, легкий стан, ее убор простой —
Всё было зеркалом Авроры,
И в новом мире к ней одной
Невольно мрачные мои стремились взоры.
Всегда беспечна, весела,
Она казалась мне мила
Невинностью своей и детской простотою —
Всё в ней для глаз моих дышало красотою.

Стыдливость, детский страх, звук трепетный речей,
Ее рука в руке моей
И первый поцелуй дрожащими устами,
И нежное «люблю» вполголоса, с слезами,
Улыбка райская, вид девственный лица,
И всё для глаз, для чувств земное совершенство
Могли б вдохнуть небесное блаженство
В стальную грудь темничного жильца,
Могли б разжечь любви опасный пламень,
Но грудь моя была как камень.
О, сколько раз вечернею порой
Она мой кров убогий посещала
И думы гордые и ропот правый мой
Улыбкой детскою смиряла.

Поблек румянца цвет живой,
Прелестное чело задумчивость покрыла,
И тайная печаль грудь слабую стеснила!
Она жила надеждою одной,
Как срезанный цветок еще живет росой, —
Родных, забавы, свет для пришлеца забыла
И, к небу взор поднявши свой,
У неба мир душе молила.
Беспечная, зачем ты встретилась со мной?
Зачем ты странника узнала?
Вся жизнь его загадка для тебя,
Ты с тайн его не снимешь покрывала.
Не встретишь с ним ты радостного дня!
И совесть мрачная, преследуя меня,
Душе холодной говорила:
Она живет теперь надеждою одной,
Как срезанный цветок живет еще росой, —
Родных, забавы, свет для пришлеца забыла!

И эта мысль летела вслед за ней
В печальную тайгу, на пажити полей,
Чрез волны быстрые за светлою струею
И в мирный дом ее отца,
Где, бледная, она с растерзанной душою
Молила за меня творца!
Беспечная, зачем ты странника узнала?
Вся жизнь его загадка для тебя,
Ты с тайн его не снимешь покрывала.
Не встретишь с ним ты радостного дня.
Ты к сердцу не прижмешь дрожащею рукою
Венчального кольца!
И в радости его безмолвного лица
На лоне роскоши не оросишь слезою.

Задумчивый, один повсюду пред собою
Я видел дом ее отца,
Где, бледная, она с растерзанной душою
Молила за меня творца!
Но я не знал, что пламень потаенный
Давно горел в душе моей,
Я выше был судьбы своей
И весь бледнел пред девою смиренной. . .

Где ж твой обет, сын праха и земли?
Светильник твой над бездной роковою?
Что ж мрачные твои гаданья прорекли?
Ты дышишь вновь любовию земною!

Она моя, она теперь со мною,
Неразделенное одно!
Ее рука с моей рукою,
Как крепкое с звеном звено!
Она мой путь, как вера, озарила.
Как дева рая и любви,
Она сказала мне отрадное «живи!»
И раны сердца залечила!
Упал с души моей свинец,
Ты мне дала ключи земного рая —
Возьми кольцо, надень венец,
Пойдем вперед, сопутница младая!

1 августа 1829

55

Когда ты был младенцем в колыбели
И голосом невинным лепетал,
Кто жизни план младенцу начертал,
Назначил кто твой путь к опасной цели?
В объятиях кормилицы своей
Ты напрягал бессильные ручонки
И с криком разрывал, как цепь, свивальник тонкий!
Кто первый смысл родил в златой душе твоей
О вольности и тяжести цепей?
В объятиях кормилицы твоей
Ты различал неволю от свободы...
И небо ясное любил...
И ненавидел...

<1830>

56

Не с болию, но с радостью душевной
Прощаюсь я с тобой, листок родной.
Как быстрый взгляд, как мысли бег живой,
Из хижины убогой и смиренной
Лети туда, где был мой рай земной.

Ты был со мной, свидетель жизни мрачной
Изгнанника в суровой сей стране,
Где дни его в безвестной тишине
Текут волной то мутной, то прозрачной.

Здесь берег мой, предел надежд, желаний,
Гигантских дум и суетных страстей;
Здесь новый свет, здесь нет на мне цепей —
И тихий мир, взамену бед, страданий,
Светлеет вновь, как день в душе моей.

Она со мной, подруга жизни новой,
Она мой крест из рук моих взяла,
Рука с рукой она со мной пошла
В безвестный путь — в борьбу с судьбой суровой.
Мой милый друг! Без веры крепкой нет
Небесных благ и с миром примиренья.
В завет любви, и веры, и терпенья
Возьми его. И ангельский привет,
С мольбой в устах, и взор младенца нежный,

Как узнику прекрасный солнца свет,
Блеснул в душе отрадною надеждой.

Я знаю: здесь, в изгнаньи от людей,
Не встречу я живых объятий друга,
Не буду жать руки сестры моей,
Но кроткая и юная супруга,
С дитятею страданий на руках, [1]
Укажет мне улыбкой иль слезою,
Как тяжкий крест терновою стезею
Безропотно нести на раменах...

Сентябрь 1830

---

[1] Стихи не окончены, ибо дитя мое 8 сентября — умер...

57. ДУМА

Шуми, шуми, Икаугун,
Твой шум глухой, однообразный
Слился в одно с толпою дум,
С мечтой печальной и бессвязной!

Далеко мой стремится взор
Чрез эти снежные вершины,
Гряду гранитных стен и гор,
На отдаленные равнины.

Кто их увидит, кто найдет?
Один орел под облаками...
Для нас здесь неба ясный свод
Закрыт утесами, лесами.

Зачем же ты, пришлец, сменял
Свои прелестные долины
На дикий лес, громады скал,
На эти мрачные теснины?

Зачем оставил дом, детей,
Привет их, ласковые взоры
И непритворный смех друзей?
Зачем принес твой ропот в горы?

Не сам ли ты себе сказал,
Любуясь дикою природой:
«Средь этих гор, гранитных скал
Дышу я силой и свободой!»

Ты здесь нашел привет родной
И жизни хилой обновленье;
Ты сам воздвиг сей крест святой
В завет любви и примиренья!

Здесь всё в согласии с душой
Твоею мрачной, своевольной,
Здесь нет людей, ты сам с собой!
Чего ж желаешь, недовольный?

В вершинах гор гремит перун,
Прибрежных скал колебля своды...
Внизу шумит Икаугун,
Ревут его в утесах воды...

Зачем они кипят струей,
Куда, белея пеной снежной,
Как бурей взломанной стезей,
Несут свой шум, разбег мятежный?

Спроси природу — где устав
Для сил надменных и свободы?
Они не знают наших прав, —
Здесь горы, каменные своды

И зимний лед их волю жмут;
С вершин гранитного Саяна
Они летят, они бегут
К брегам привольным океана!

Кто ж остановит вечный бег?
О, сколько власти, воли, силы
Себе присвоил человек,
Пришлец земли, жилец могилы.

Прости, ключ жизни, ключ святой,
С обетом мира и надежды
Пришлец прощается с тобой!
Сын рока, волей неизбежной

Он призван рано в мир страстей...
Прошли темничной жизни годы,

И эти каменные своды
Во тьме две тысячи ночей
Легли свинцом в груди моей.

Текут вперед изгнанья годы,
Всё те же солнце и луна,
Такая ж осень и весна,
Всё тот же гул от непогоды.

И та же книга прошлых лет,
В ней только прибыли страницы,
В умах всё тот же мрак и свет,
Но в драме жизни — жизни нет,
Предмет один, другие лица. . .

Прости ж, ключ жизни, ключ святой,
Твои я пил целебны воды
И снова жизнью и весной
Дышал, как юный сын природы!

Вдали от света, от людей
Здесь всё, как в родине моей,
Светлело южною зарею;
Забилось сердце веселей —
И в темной памяти моей
Минуты счастья прежних дней
Блеснули яркою чертою. . .

И всё вокруг меня цвело,
И думы гордые молчали,
И сон страстей изображали
Уста и бледное чело.

15 августа 1840
Туранские минеральные воды

58. ПРЕДСМЕРТНАЯ ДУМА

Меня жалеть? .. О люди, ваше ль дело?
Не вами мне назначено страдать!
Моя болезнь, разрушенное тело —
Есть жизни след, душевных сил печать!

Когда я был младенцем в колыбели,
Кто жизни план моей чертил,
Тот волю, мысль, призыв к высокой цели
У юноши надменного развил.

В моих руках протекшего страницы —
Он тайну в них грядущего мне вскрыл:
И, гость земли, я, с ней простясь, входил,
Как в дом родной, в *мои темницы!*

И жизнь страстей прошла как метеор,
Мой кончен путь, конец борьбы с судьбою;
Я выдержал с людьми опасный спор
И падаю пред силой неземною!

К чему же мне бесплодный толк людей?
Пред ним отчет мой кончен без ошибки;
Я жду не слез, не скорби от друзей,
Но одобрительной улыбки!

Ноябрь 1842
Село Олонки

59

Мой милый друг, твой час пробил,
Твоя заря взошла для света;
Вдали — безвестной жизни мета
И трудный путь для слабых сил.
Теперь в твои святые годы
Явленья чудные природы:
Блеск солнца в радужных лучах,
Светило ночи со звездами
В неизмеримых небесах,
Раскаты грома за горами,
Реки взволнованный поток,
Луга, покрытые цветами,
Огнем пылающий восток...
Зовут твой взор, твое вниманье,
Тревожат чувства и мечты;
Ты дышишь миром красоты,
И мир — твое очарованье!..

Твой век младенческий, как день,
Прошел, погас невозвратимо;
В незрелой памяти, как тень,
Исчезнет жизни след счастливый.

Тебя вскормила в пеленах
Не грудь наемницы холодной —
На нежных матери руках,

Под властью кроткой и природной,
Ты улыбаяся взросла.
Ты доли рабской не видала,
И сил души не подавляла
В тебе печальная нужда.
Отец, забывши суд людей,
Ночные думы, крест тяжелый,
Играл, как юноша веселый,
С тобой в кругу своих детей.
И луч безоблачной денницы
Сиял так светло для тебя!
Ты знала только близ себя
Одни приветливые лица,
Не как изгнанника дитя,
Но как дитя отца-счастливца!

И ты узнаешь новый свет,
И ты, мой друг, людей увидишь;
Ты встретишь ласки и привет
И голос странный их услышишь.
Там вечный шумный маскарад,
В нем театральные наряды,
Во всем размер, во всем обряды,
На всё судейский строгий взгляд —
Ты не сочтешь смешной игрою,
Торговлей лжи, набором слов,
Поддельной, грубой мишурою
И бредом страждущих голов...
Нет, для тебя блестит, алеет
И дышит мир еще весной,
Твой лик невинный не бледнеет
И не сверкает взор враждой.

А я в твои младые годы
Людей и света не видал...
Я много лет не знал свободы,
Одних товарищей я знал
В моем учебном заключеньи,
Где время шло как день один,
Без жизни, красок и картин,
В желаньях, скуке и ученьи.

Там в книгах я людей и свет
Узнал. Но с волею мятежной,
Как видит бой вдали атлет,
В себе самом самонадежный
Пустил чрез океан безбрежный
Челнок мой к цели роковой.
О друг мой, с бурей и грозой
И с разъяренными волнами
Отец боролся долго твой...
Он видел берег в отдаленьи,
Там свет зари ему блистал,
Он взором пристани искал
И смело верил в провиденье,
Но гром ударил в тишине...
Как будто бы в ужасном сне
На бреге диком и бесплодном,
Почти безлюдном и холодном,
Борьбой измученный пловец
Себя увидел, как пришлец
Другого мира.
В свете новом,
Своекорыстном и суровом,
С полудня жизни обречен
Нести в молчаньи рабском он
Свой крест без слез, без укоризны,
И не видать своих друзей,
Своих родных, своей отчизны,
И все надежды юной жизни
Изгнать из памяти своей...
О, помню я моих судей,
Их смех торжественный, их лицы
Мрачнее стен моей темницы
И их предательский вопрос:
«Ты людям славы зов мятежный,
Твой ранний блеск, твои надежды
И жизнь цветущую принес,
Что ж люди?»
С набожной мечтою
И с чистой верой — не искал
Я власти, силы над толпою;
Не удивленья, не похвал
От черни я бессильной ждал;

Я не был увлечен мечтою,
Что скажут люди — я не знал!

О добродетель! где ж непрочный
Твой гордый храм, твои жрецы,
Твои поклонники-слепцы
С обетом жизни непорочной?
Где мой кумир, и где моя
Обетованная земля?
Где труд тяжелый и бесплодный?
Он для людей давно пропал,
Его никто не записал,
И человек к груди холодной
Тебя, как друга, не прижал! ..
Когда гром грянул над тобою —
Где были братья и друзья?
Раздался ль внятно за тебя
Их голос смелый под грозою?
Нет, их раскрашенные лица
И в счастьи гордое чело
При слове *казни и темницы*
Могильной тенью повело...

Скажи, чем люди заплатили
Утрату сил, души урон
И твой в болезнях тяжкий стон
Какою лаской облегчили?
Какою жертвой окупили
Они твой труд и подвиг твой?
Не ты ль, как мученик святой,
Молил изгнанья, как свободы?
В замену многих тяжких лет
Молил увидеть солнца свет,
И не темниц, а неба своды?

И что ж от пламенных страстей,
Надежд, возвышенных желаний,
Мольбы и набожных мечтаний
В душе измученной твоей
Осталось?
Вера в провиденье,

Познанье верное людей,
Жизнь без желаний, без страстей,
В болезнях сила и терпенье,
Всё та же воля, как закон,
Давно прошедшего забвенье
И над могилой сладкий сон!

Вот, друг мой, книга пред тобою
Протекшего. Ты видишь в ней
Мою борьбу людьми, с судьбою
И жизнь труда, терпенья и страстей.
Не видел я награды за терпенье
И цели я желанной не достиг,
Не встретил я за труд мой одобренья,
Никто не знал, не видел слез моих.
С улыбкой я несу на сердце камень,
Никто, мой друг, его не приподнял,
Но странника везде одушевлял
Высоких дум, страстей заветный пламень.

Печальный сон, но ясно вижу я,
Когда, людей еще облитый кровью,
Я сладко спал под буркой у огня, —
Тогда я не горел к высокому любовью,
Высоких тайн постигнуть не алкал,
Не жал руки гонимому украдкой
И шепотом надежды сладкой
Жильцу темницы не вливал...
Но для слепца свет свыше просиял...
И всё, что мне казалося загадкой,
Упрек людей болезненный сказал...
И бог простил мне прежние ошибки,
Не для себя я в этом мире жил,
И людям жизнь я щедро раздарил...
Не злата их — я ждал одной улыбки.
И что ж они? Как парий, встретил я
Везде одни бледнеющие лица,
И брат и друг не смел узнать меня;
Но мне блистал прекрасный луч денницы,
Как для других людей;

Я вопрошал у совести моей
Мою вину... она молчала,
И светлая заря в душе моей сияла!..

Бог видел всё... Он труд мой освятил...
Он мне детей, как дар святой, заветный,
Как мысль, как цель, как мира ветвь вручил!
Итак, мой друг, я волей безотчетной
И мысль и цель тебе передаю.
Тот знает их, кто знает жизнь мою.
Я эту жизнь провел не в ликованьи.
Ты видела — на розах ли я спал;
Шесть лет темничною заразою дышал
И двадцать лет в болезнях и в изгнаньи,
В трудах для вас, без меры, выше сил...
Не падаю, иду вперед с надеждой,
Что жизнию тревожной и мятежной
Я вашу жизнь и счастье оплатил...
Иди ж вперед, иди к призванью смело,
Люби людей, дай руку им в пути,
Они слепцы, но, друг мой, наше дело
Жалеть о них и ношу их нести.
Нет, не карай судом и приговором
Ошибки их. Ты знаешь, кто виной,
Кто их сковал железною рукой
И заклеймил и рабством и позором.

Не верь любви ласкательным словам,
Ни дружества коварнымувереньям,
Ни зависти бесчестным похвалам,
Ни гордости униженной — смиренью.
Не доверяй усердию рабов:
Предательство — потребность рабской доли...

Не преклоняй главы для сильной воли,
Не расточай в толпе бесплодных слов...
Иди вперед... прощай другим пороки,
Пусть жизнь твоя примером будет им,
И делом ты и подвигом святым
Заставишь чтить и понимать уроки.
Ты мир пройдешь поросшею стезей,

Но не бледней пред тайной клеветою,
Не обличай пред наглою толпою
Борьбу души невольною слезой.
Будь выше ты бессмысленного мненья...
И люди, верь, прочтут с благоговеньем
В глазах твоих спасительный упрек...

Я знаю сам, трудна твоя дорога,
Но радостно по ней идти вперед,
Тебя не звук хвалы кимвальной ждет,
Но милость праведного бога!..

Когда я в мир заветный отойду,
Когда меня не будет больше с вами,
Не брошу вас, я к вам еще прийду
И внятными знакомыми словами
К отчету вас я строго призову.
От вас мои иль вечные страданья,
Иль вечное блаженство — всё от вас.
Исполните надежды и призванье —
И труд земной пройдет как день, как час
Для нераздельного небесного свиданья.

1846 или 1848

ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ И ВАРИАНТЫ

1. ПЕСНЬ ВОИНОВ ПЕРЕД БИТВОЮ

Ранняя редакция («Ульяновский сборник» [1]*)*

Заутра, други, станем в строй,
Ударит бурный час отмщенья,
Нам сладко битвы пробужденье,
Наполним кубок круговой!..
О дети полуночи хладной,
Неведом нам постыдный страх,
Мы зрели блеск мечей стократно
И обращали дерзких в прах!..
Шумит от севера ветр бурный,
Ветр с милых отческих полей
Принес отмщенья зов перунный
И жизнь за братий, за друзей
Иль смерть на трупах в поле чести
В урок стотысячным врагам,
Сей кубок духу бранной мести.
Заутра, братья! к знаменам.
Ура!
Пусть дети неги средь покоя
С унылой рабскою душой
Дрожат при зове грозна боя
И укрывают трепет свой
В кругу красавиц прихотливых.
Их слава — женам подражать,
Их битва — с взором дев стыдливых,
Победа — слабых обольщать!
Презренье низким! Нам награда
Отчизны благодарный клик.

[1] Список условных сокращений, принятых в этом разделе, см. на с. 226.

Низвергнуть сонмы супостата
Велит нам бог, нам росс велит!
Жуковский сильно грянет в струны
И славы дух воспламенит,
Об длани грозные перуны —
И враг стомощный побежит!

Ура!..

Нам неизвестно униженье
И лесть пред властным гордецом,
Рабам-искателям — презренье!
Клянемся гибельным мечом
Не поступиться пред собою
Средь счастья — братий узнавать,
Быть в дружбе с честью, правотою,
В несчастьи — слез не проливать,
Нести врагам до гроба мщенье,
Струить тиранов хищных кровь!
Покорным — руку и прощенье,
А слабым — братскую любовь;
Судьба нам меч и власть вручила,
Чтобы насильствие смирять;
Мила за родину могила,
Не дважды, други, умирать!

Ура!

За бором скрылся месяц светлый,
Туман редеет по холмам,
Несется утра гром приветный,
Пробуд раздался по полкам.
И ратник сон свой покидает,
Берет свой щит из-под голов,
Копьем тяжелым потрясает
И, взор вперя на стан врагов,
Туда зовет его отмщенье,
Там сонмы буйных пришлецов,
Он жаждет близкого сраженья!
Ему знаком привет громов!
Сигнал раздался!.. Други, к бою!
Допьем же кубки — край о край...
Перун дробится за горою
И по рядам гремит... *Ступай!*

Ура!

9

Фрагмент, записанный отдельно от основного текста (ЛН)

Оставя жизни бурной
Неласковый прием
И блеск честей мишурный,
Ты истинным путем
О! П...., друг свободы,
Под сень святой природы
С беспечностью идешь,
Где время золотое
В довольстве и покое
И в неге проведешь!
Ни громы в отдаленьи,
Ни ядер звонкий шум
В минуты сладких дум,
В часы отдохновенья
Тебя не воззовут.
Там с милою семьею
Все радости с тобою
И мудрости приют!..

10

Наброски, не вошедшие в основной текст («Ульяновский сборник», «Новые материалы») [1]

Покорствовать судьбе коварной, переменной
Велит рассудок нам, но твердость в нищете,
Смиренье и любовь честей на высоте
Суть признаки души свободной, неизменной.

[Устав неотвратим фортуны переменной,
Слепое божество пристрастною рукой
Нас делит жребием из урны роковой,
Из урны — мрачною завесой покровенной.]

Но нам ли унижать себя предрассужденьем?
И нам ли, не стыдясь, завидовать глупцам?
Рабы бездушные, на камень падше семя,
Для посмеяния природой созданы;
Земле, себе самим и смертным тяжко бремя,
Без случая-слепца что были бы они?

---

[1] Соотношение этих набросков с окончательным текстом неясно; в подобных случаях ниже ссылки на основной текст (отсчет стихов) отсутствуют.

[Завидовать глупцу позволено глупцам,
Но в мудром участь их рождает сожаленье.
Без истинных заслуг хвалы и чести нет.]

Варианты основной редакции («Ульяновский сборник», «Новые материалы»)

1—2 Мой друг! Брось верный взгляд на сей превратный свет:
В чертогах мраморных и в хижине убогой...

8—10 К престолу ближе кто, тот ближе к ниспаденью.
Чины и почести и всех богатств собор,
Когда нет мудрости, нас скукой отягчают.

21—22 Лишенною венца Зеновию в цепях
Рабыней в Риме зри и с ней превратность рока.

32—34 Безумцы ль гения в потомстве лаврами венчают?
Нет, нет, врага ума — они в кругу своем предвозвещают;
Франклина [мудрого] с Кромвелем Лжедмитрию равняют...

36 Потомки Мидаса, гордящися породой...

12. ПОСЛАНИЕ Б ⟨ АТЕНЬКОВУ ⟩

Первая редакция («Ульяновский сборник»)

7—8 И кровь струилася рекою
Отчизны милой на полях,

Вместо 15—73 Тиран из стонущей столицы,
Оставя гибель за собой,
Как в сумрак слабый блеск зарницы,
Стремился быстро в бег толпой,
И вслед им сильный бог отмщенья,
Во мзду их кар и преступленья,
Перуны грозные бросал.
Я видел бурю бога мести
И взор невольно отвратил,
Сочувства голос пробудил
Глас человечества и чести.

И непредвидимой судьбой
Среди всеобщего волненья,
Мой друг! я разлучен с тобой.
Тогда под знаменами славы
При кликах радости побед
Ты зрел врагов преступных след
И путь их гибели кровавый.
Ты видел гордой Эльбы ток,
Ты видел города чудесны,
Ты видел горы близ небесны,
Куда достичь никто не мог
И где льды вечные блистают;
Ты видел рейнский водоскат,
Где блеском радуги горят,
И взор и чувства утомляют;
Столицу бедствий посещал,
Привыкшею к боям рукою,
За чашей полной, золотою,
Прелестниц чуждых обнимал
И на лилейной груди страстной
С своею Гебою прекрасной
В восторгах сладких засыпал;
Ты видел, как народ свободный [1]
Венки из лавров соплетал
И русских воинов венчал,
И слышал глас вокруг народный
Вослед спасителей царей:
«Они достойны алтарей!»
И средь веселий и забавы,
При кликах торжества и славы,
Простясь надолго с суетой,
Сокрылся в край от нас далекий,
Где вечный холод, снег глубокий,
Где Лена, Обь своей волной
В гранитные брега плескают
И меж незнаемых лесов
До моря ледяных брегов,
Волнуясь, быстро пробегают;
Где всё в забвеньи мрачном спит,
Где чуть лишь слышен глас природы,

[1] Немцы.

Но где живут сыны *свободы,*
Где *луч учения блестит.*
Твои там отческие лары,
Там мир и счастие с тобой,
Туда кровавою рукой
Войны губительные кары
Не принесет никто с собой;
Там, упиваяся блаженством,
Ты с милой Лизою своей
Счастливей мрачных богачей
И, не гордясь одним первéнством,
Облегшись в неге нá грудь к ней,
Лобзаешь руки белоснежны;
Встречаешь взор в восторге нежный,
Неведомый сердцам царей;
Иль, сидя у огня, мечтаешь
О друге — воине твоем,
И дни, когда с тобой вдвоем
Мы были, ты воспоминаешь;
Но я, мой друг, в краю чужом,
Как путник *сирый и бездомный,*
Всегда в своих желаньях скромный.
Не знаю, где и отчий дом.
Блажен, кто в утренний рассвет
За дымом горним не стремился;
А я среди цветущих лет
С семейной жизнию простился,
И, подчинен законам бед,
Гонимый лютостью судьбины,
Я нем среди толпы людей
С оледенелою душой,
Когда я *тайной жду причины.*
И струны скромныя цевницы
Звучат напев печальный мой,
И чувства им вторят слезой
При появлении денницы.
В груди моей пермесский жар,
Среди столь бедственных волнений,
Не угасил мой ангел-гений;
Природою мне данный дар
Лучом ученья озарился,
И я свободною душой

Перед могучею рукой
Еще, еще не преклонился.
Для неизвестного певца
Потомство не сплетет венца,
Но мне талант мой в утешенье.
И дружбы беспристрастный глас
Мне будет радостней сто раз,
Чем тысячи зоилов мненье.
Но кто, мой друг, не испытал
В сем океане бурь волнений
И кто без сильных преткновений
До цели верной достигал?
Здесь всё подвержено сомненью.
Начало и конец один.
Надежда — спутник огорченья.
И счастья развращенный сын,
Средь неги, роскоши забвенья,
Пьет чашу гибели своей
И на груди неверных фей
Томится сам от *пресыщенья.*
Быть может, колесо скользнет
Фортуны в оборотах быстрой,
И мне из тучи свет блеснет,
И путь мой твердый, каменистый
Везде цветами прорастет.
И я, как путник утомленный,
Для жизни новой пробужденный,
Взгляну на пристань и покой
И брошу гибкий посох свой.

Автограф (изд. 1961) Между строфами 2 и 3

35

Но образ гибельный повсюду предо мной.
И тщетно от него в пустыни убегаю:
И в бурях, и в грозах, с Авророй золотой,
И в сновидении — везде ее встречаю.

Напрасно призывал к спасенью нежных муз
И робкий осыпал их жертвенник цветами,
Напрасно обещал покорство и союз
Цирцее пламенной дрожащими устами.

36

Первый набросок («Новые материалы»)

А вы, ничтожные рабы
Пороков, зла и ухищрений,
Склонивши выи и колени,
Почто возносите мольбы
Творцу добра, не преступлений?
И клирный глас и псалмопенье
Ярем позорный не сотрут!
Погрязшие во тьме разврата,
Вотще в раскаяньи — отрада,
Везде — позор и стыд вас ждут.

Второй набросок («Новые материалы»)

Цари, любимцы низкой славы,
Дерзнете ль в слепоте своей
Мечтать о вечности честей
И презирать судьбы уставы?
Жизнь наша переменный сон,
И быстро исчезает он!..
Где ж луч отрады, цель стремленья,
Где в духе горний свет —
Ум свыше молний и сует!

Третий набросок («Ульяновский сборник»)

Покой и радости прямые
Не горы золота дают.
Слепцы за призраком бегут...
И вкруг обломки гробовые
И разрушения следы,
Печать всеобщей череды,
Им участь жалкую являют...
Нет! средственность и путь прямой
[Свобода] и власть рассудка над мечтой
Жизнь миром озаряют.

Другая редакция (Сб. 1952) Строфы 2—4

Где ж будет твой ничтожный прах,
Сын персти слабый, но надменный?
Куда погибель, смерть и страх
Несешь по трупам искаженным?
Воззри, там алтари священны
Являют пепл и углей горы,
Здесь веси мирные кругом —
Обращены в могильны своды, —

И где резвились хороводы,
Там слышны вопль и бурный гром! . .

А ты, бездушный сибарит,
Млеком тщеславия вспоенный
И даром жизни утомленный,
Скажи, куда твой дух парит
Среди угрюмой, черной лени?
Вокруг тебя мелькают тени
Наемных ветреных цирцей,
Столы роскошные накрыты
И кубки светлые налиты,
Но ты вздыхаешь, раб страстей!

Вельможа, друг царя надежный,
Личиной истины прямой
Покрыл порок корысти злой
И ухищренья дух мятежный.
Злодей, и сирых робкий стон,
И рабства гибельный закон,
И слезы страждущих в темнице,
И в рубищах народ простой,
К тебе молящий со слезой,
Не видишь ты под багряницей? . .

Варианты публикуемой редакции («Новые материалы»)

7—8
Среди рассеянных гробов
При реве гибельных громов

46—47
Как тяжкий рассечен ярем
Отмщенья праведным мечом

Ранняя редакция («Ульяновский сборник»)

40

Между 12 и 13
О дубы стройные, и вы росли со мною!
Под тенью вашею я некогда играл
И каждою зарею
Забавы прошлые забавой заменял.

После 26
Прости ж, ручей родной, прохладные дубравы —
Быть может, навсегда я покидаю вас.

Я не раб — свободен от желаний славы,
Мне дорог радости и мира каждый час.
В роскошных ли садах смеющейся Тавриды,
В стране ли хладной остяков
Или в развалинах Эллады —
Найду гостеприимный кров!
Там, там отечество мне будет!
Пусть хладный свет меня забудет,
Я там своих поставлю лар.
И под щитом святой природы,
На алтаре любви и нравственной свободы,
Забвенью принесу прошедшее всё в дар.

41. ЭЛЕГИЯ

А. Ф. Р.

Ранняя редакция (Сб. 1952)

Раздался звон глухой... Я слышу скорбный глас:
Песнь погребальную вдали протяжным хором
И гроб, преследуем печальных лиц собором...
То юноша предвременно угас!
Смерть кровожадная невинного сразила
За светлой радостью первоначальных дней,
С друзьями, с милыми и с миром разлучила,
Для слез оставленных и милых и друзей.
И прерван путь его в цепи круговращенья...
. . . .
Здесь юноша погас, там старец век-другой,
Полмертв, и полужив, и смертию забытый,
Живет и в жизни нем для радости испитой!
Здесь добродетельный, гонимый злой судьбой,
Пристанища себе от бури и ненастья,
Носимый по волнам, ждет в бездне роковой!
Злодей на пиршествах, на ложе сладострастья
С убитой совестью фиал утехи пьет...
И с новою зарей веселий новых ждет!..
. . . .
Как в равнозвучии ручей быстротекущий
Ревет в утесах гор, шумит в тени древес,
Рвет узы, за собой оставя мрачный лес,
Стремится по полям, поит луга цветущи
И, в море падая, теряется в волнах,
Так смертный мыслями, земной оставя прах,

Превыше суеты и слабосильных мнений
Возносится горе́ и гаснет в тьме сомнений!
О юноша! твой век, как утренний восход
При отблеске лучей, за тучею сокрылся.
Твой челн над бездною кипящей не носился.
И путь окончен твой при бреге тихих вод!
Мир светлый, красотой весенней облеченный,
В последний раз в твоих очах сиял;
Природы прелестью улыбкой оживленный,
Ты сладкою мечтой в надежде исчезал!
Но рок неуловим, и суетность земная
Потухла для тебя с последнею звездой.
Так, бурю грозную пловец предупреждая,
Счастлив, когда найдет и пристань и покой!
Сын вечности, воззри — в сей бездне злоключений,
Пороки зависти, нелепых, слабых мнений,
Кто не завидует об участи твоей?
Мудрец начало зрит в причине разрушенья,
Один злодей дрожит об участи своей:
Бессмертие души есть казнь для преступленья! ..
День ночью сменится, за веком век пройдет,
Неизмеримое число переменяя,
И время, сильною рукою разрушая,
В природе тьмы существ еще произведет!
Что ж наши замыслы в юдоли треволнений,
Коль Лейбниц и Ньютон под крышей гробовой!
Так, так! их тлен — в земле, но светлою душой
И в будущих веках живет всесильный гений!
Лист падает с дерев, последний цвет слетел,
Мерцает луч во мгле и погрузился в воды...
О смертный! не ропщи... Таинственный удел
Является уму картиною природы!

Зачеркнутые стихи («Ульяновский сборник») После 8

46

[Отец в неистовстве гнетет своих детей
И чистую их радость,
И наслажденье юных дней,
И окрыленну младость
Мрачит гонением, гиеною страстей, —
И юность во слезах течет невозвратимо!
Немилы нивы ей отеческих полей,

Неясен и ручей родимый...
И прелесть счастия с денницею златой
Проходят как мечта и гибнет жизни сладость,
И времени забав, беспечности младой
Предшествует всегда суровая превратность.]

47

В автографе (Сб. 1961)

Вместо 23—30 Пловец в волнах погибель зрит,
Сильнее хладный дождь шумит,
Во мраке бледный огнь мерцает,
Перун из черных туч летит.

50

Ранняя редакция Автограф ГБЛ («Лит. критик», 1939, № 2)

1 Завеса пала! в узах я

3—8 От струн расстроенной цевницы
До слуха вашего, друзья!
Быть может, вы в свободной доле,
В восторгах жизни молодой
Забыли узника в неволе,
Забыли тяжкий жребий свой?

11—13 Еще за чашей круговой
Вы ждете жизни боевой
И полны думою мятежной.

15 И на роскошнейших грудях

22 Вам чувства сладкой негой жжет

27 Как мрамор хладного суда

31 С усмешкой сделать вам упрек

34 Вам веет легкими крылами

39 Иль резкий темп ружья стального

45—46 Безвестной смерти под ножом
Им в мрачных сводах заключенье

48—50 От вас отгонит страшный гром —
Он грянул грозно надо мною, --
Но я от язвы лютых стрел

Вместо 55—62 Я слышал голос двуязычный
И презрел вид ее двуличный.
С каким-то адским торжеством,
В преступных чувствах закоснелый,
Враг чести с совестью немой
Злодей с продажною душой
Мне сделал укоризны смело.
С улыбкой суд ему внимал,
Улыбкой наглость ободрял
И внес в ужасные страницы
Слова наемного убийцы.

Вместо 65—77 Он с ветром в воздухе терялся...
Напрасно небо я молил:
Казалось, рок не истощил
Судьбы карающей удары.
И суд со взором алчной кары
На жертву с радостью взирал.
Чуждаясь правды обнаженной,
Он двух свидетелей искал,
Он их нашел в толпе презренной...
Тогда я с твердостью поднял
Священный щит, светильник славы,
Венков, народов и царей,
Звено общественных связей,
Закон и прежних лет *уставы!*
Но тщетный голос! Сей закон
В устах определенной жертвы
Был только звук немой и мертвый.
Итак, исчез прелестный сон:
И я открыл со страхом вежды,

81—82 Пловец! свиреп твой путь над бездной,
Мужайся! Жди всему конца

93—95 Где ты свободою дышал
И к жизни лучшей устремлял
Взор светлый с чистою душою.

104 Где много жертв страстей и власти

107 Под ношей скорби и напасти!

114 И вопли беспрерывной муки

117 Без сил, без памяти, без слов

123 Темницы хладные предметы!

125—128 Любимец наш и Аполлона,
Страстей высоких пылкий жрец
Сей новый берег Ахерона,
Теней жилища воспоет! ..

Вместо 138—154 Воспой же дни, когда в цепях
Лежала наглая обида;
Когда порок, как бледный страх,
Боялся собственного вида, —
Воспой величие царей,
Их благость должную к народу,
В десницах их его свободу
И право личное людей!
Воспой простые предков нравы,
Отчизны нашей век златой,
Природы дикой и святой
И прав естественных уставы.
Быть может, смелый голос твой
Дойдет до Кесаря молвою,
Быть может, с кротостью святою
Он бросит несуровый взор
На мой ужасный приговор
И примирит меня с судьбою!
Быть может, кончен жребий мой...

165 Свободен духом в узах был

168 *<Конец стихотворения>*

Автограф ЦГАОР («Волжская новь», 1940, № 10)

(Без заглавия)

7 Утратил дар ея в неволе

9 В союзе с верною надеждой

21	Сей взор приветный Ганимеда
31	С усмешкой сделать вам упрек
34	Зыбится легкими волнами
64	Мне верной *черни боевой*
81	Пловец! Твой кончен путь над бездной!
83—84	В надежде скромной мудреца, Но в сердце с крепостью железной!
92	Полет по ясным небесам
95	И к мете тайной устремлял
101	Вдали от вас, друзья, от света
107	Под ношей скорби и напасти
114	И вздохи беспрерывной муки
123	Темницы хладные предметы
125	Любимец муз и Аполлона
135	Тебя лишь, юный Амфион
139—152	*<Стихи отсутствуют>*
161—168	*<Стихи отсутствуют>*
170	Сияет солнце на Востоке
175	Зовет вас честь, добро святое
176	Спешите. Сей небесный звон
178	Пробудит он народный сон

«Русская старина» *1890, № 5* *Вместо 54—62*	Наемной лжи перед судом Я слышал голос двуязычной И презрел вид ее двуличный. С каким-то рабским торжеством,

В пороках рабских закоснелый,
Предатель рабским языком
Дерзнул вопрос мне сделать смелый.
Но я умолк перед судом!
И этот тайный трибунал
Искал не правды обнаженной,
Он двух свидетелей искал
В толпе презренной...

«Воспоминания» В. Ф. Раевского (ЛН)

«Сабанеев был друг Дибича. Орлов защищал брата своего пред государем и, конечно, выставил меня как главного виновника по влиянию моему на Орлова и, вероятно, и представил стихи мои «К друзьям», которые ходили тогда по рукам. Об этих стихах мне был запрос уже в Сибири. В них, обращаясь к Пушкину, я говорил:

129—132 Сковала грудь мою, как лед,
Уже темничная зараза,
Холодный узник отдает
Тебе сей лавр, певец Кавказа...

137—152 Оставь другим певцам любовь.
Любовь ли петь, где брызжет кровь,
Где племя чуждое с улыбкой
Терзает нас кровавой пыткой,
Где слово, мысль, невольный взор
Влекут, как явный заговор,
Как преступление, на плаху
И где народ, подвластный страху,
Не смеет шепотом роптать.
Пора, мой друг, пора воззвать
Из мрака век полночной славы,
Царя-народа дух и нравы
И те священны времена,
Когда гремело наше вече
И преклоняло издалече
Князей кичливых рамена.

Впоследствии я переменил так:

Сковала грудь мою, как лед,
Уже темничная зараза,

Жилец темницы отдает
Тебе сей лавр, певец Кавказа.
Оставь другим певцам любовь.
Любовь ли петь, где стынет кровь,
Где власть с надменною улыбкой
За слово, мысль, за смелый взор
Грозит допросами и пыткой,
Повсюду видит заговор,
Ведет невинного на плаху
И где народ, подвластный страху,
Не смеет шепотом роптать.
Пора, мой друг, пора воззвать
Из мрака век протекшей славы,
Народу силу, власть и нравы
И те священны времена,
Когда гремело наше вече
И преклоняло издалече
Князей кичливых рамена.

Эти ли стихи или другие были в руках у Бенкендорфа, потому что при запросах стихи не были приложены. Вот почему я и отвечал, что «я не знаю, какие стихи мне приписывают? под моим именем мог писать и другой».

52

Копия (изд. 1961)

11—13 Погиб мой верный Пелисон,
Один незримый Абеон
Свидетель был моей разлуки.

16—17 Не может быть сей внятный взор,
Сей разнозвучный разговор,

29 Летая в стае птиц, с денницей,

Вместо 31—48 Для друга волю забывал!
И страж угрюмый диковался,
Когда беспечный забавлялся,
Порхая смело над ружьем,
Его блистающим штыком.
Ах, он не знал, что адский гром

Скрывает блеск ружья лукавый,
Что этот штык одно есть право, —
Довод единственный людей.
Не зная злобы и людей,
Не зная рабства и страстей,
Он пел природе гимн без страху,
И на корзину и на плаху,
На меч, порфиру и кинжал,
Резвясь, равно перелетал.
Певец мой часто оглашал,
Взлетя на крест, церковны своды
Хвалебной песнию природе.
Когда ж, как ржавчиною сталь,
Мне грызла грудь <мою> печаль,
Кому ж? — скворцу меня лишь было жаль!
И мнилось — пел мой друг сердечный:
«Труды и жизнь не бесконечны!»
Я звукам сладостным внимал
И вдруг свободнее дышал,
И друга милого ласкал.
Когда ж вражда со клеветою
В суде кичились предо мною,

Вместо 54—57 И стал он жертвой слез и муки.
Неси, река, неси волной,
Неси певца на брег чужой,
От стран родных его укрой
Туда, где блещут чисты воды,
Где веет сладкий ветр свободы!

58

Ранняя редакция («Сиб. огни», 1938, № 3—4)

6 Кто жизни план моей вершил,

Вместо строф 3—4

Среди молений и проклятий,
Средь скопища пирующих рабов,
Под гулами убийственных громов
И стонами в крови лежащих братий —

Я встретил жизнь, взошла заря моя.
Тогда я не горел к высокому любовью,
Великих тайн постигнуть не желал,
Не жал руки гонимому украдкой

И золотой надежды сладкой
Жильцу темницы не вливал.
Но для меня свет свыше просиял!
И всё, что мне казалося загадкой,

Упрек людей болезненно сказал. . .
Тогда пришла пора безмолвного страданья,
Но что ж? Страданья сладки мне, когда любовь им мать,
И я за целый век бездумного веселья
Мгновенья скорбного не соглашусь отдать.

Не для себя я в этом мире жил
И людям жизнь я щедро раздарил,
Не злата их, — я ждал одной улыбки.
И что ж? Как парий встретил я —
Везде одни бледнеющие лица.
И друг и брат не смог узнать меня.

Но для меня блистал прекрасный луч денницы,
Как для других людей;
Я вопрошал у совести моей
Мою вину — она молчала,
И светлая заря в душе моей сияла.
И помню я моих судей,
Их смех насильственный, их лица,
Мрачнее стен моей темницы,
И их значительный вопрос:
«Ты людям славы зов мятежный,
Твой ранний блеск, твои надежды
И жизнь цветущую принес. . .
Что ж люди? . .
Когда гром грянул над тобою,
Где были братья и друзья?
Раздался ль внятно за тебя
Их голос смелый под грозою?
Нет, их раскрашенные лица
И в счастьи гордое чело
При слове «казни и темницы» —
Могильной краской повело.
И что ж от пламенных страстей,
Надежд, возвышенных желаний,
Мольбы и набожных мечтаний
В душе измученной моей

Осталось? — Вера в провиденье,
Познанье верное людей,
Жизнь без желаний, без страстей,
Всё та же воля, как закон,
Давно прошедшего забвенье
И пред могилой тихий сон.

Но добродетель! Где ж непрочный
Твой гордый храм, твои жрецы,
Твои поклонники-слепцы
С обетом жизни непорочной?

Где мой кумир, и где моя
Обетованная земля?
Где труд тяжелый, но бесплодный?
Он для людей давно пропал,
Его никто не записал.
И человек к груди холодной
Тебя, как друга, не прижал.

Давно несу я в сердце камень,
Никто, никто его не приподнял,
Но странника всегда одушевлял
Высокий дух, страстей заветный пламень.

Там за вершинами Урала
Осталось всё, что дух живило мой —
Мой светлый мир, — я внес в Сибирь с собой
Лишь муки страшные Тантала.
И жизнь моя прошла как метеор.

К чему же мне бесплодный плач людей?

59

Письмо к Г. С. Батенькову (ЛН) 99—105

Что ж люди?»... С чистою душою,
О добродетель, не искал
Я власти, силы над толпою.
Не удивленья, не похвал
От черни я безумной ждал, —
Я не был увлечен мечтою, —
Я был весь твой, я жил тобою,
Что скажут люди, я не знал!..



ПРИЛОЖЕНИЕ

ВЕЧЕР В КИШИНЕВЕ

Я ходил по комнате и курил трубку.

Майор Р. сидел за столом и разрешал загадку об Атлантиде и макробеях... Он ссылался на Орфееву «Аргонавтику», на Гезиода, на рассуждения Платона и Феопомпа и выводил, что Канарские, Азорские и Зеленого мыса острова суть остатки обширной Атлантиды.

— Эти острова имеют волканическое начало — следственно, нет сомнения, что Атлантида существовала, — прибавил он и вскочил со стула, стукнул по столу рукою и начал проклинать калифа Омара, утверждая, что в Библиотеке Александрийской, наверно, хранилось описание *счастливых островов.*

— Итак, если эти описания сгорели, то не напрасны ли розыски и предположения твои, любезный антикварий, — сказал я ему.

Майор. Совсем нет. Ум детский, ограниченный (étroit) доволен тем, что он прочел вчера и что забудет завтра. Сочинять стишки — не значит быть стихотворцем, научить солдата маршировать — не значит быть хорошим генералом.

Ум свободный, как и тело, ищет деятельности. Основываясь на предположениях, Колумб открыл Америку, а система мира пифагорейцев, спустя 20 веков, с малыми переменами признана за истинную.

Земля, на которой мы рыцарствуем теперь, некогда была феатром войны и великих дел. Здесь процветали Никония, Офеус или Тира, Германиктис, отсюда Дарий Истасп, разбитый скифами в 513 году, бежал через Дунай, здесь предки наши, славяне, оружием возвестили бытие свое... Но согласись, что большая часть соотечественников наших столько же знают об этом, как мы об Атлантиде. Наши дворяне знают географию от села до уездного города, историю ограничивают эпохою бритья бород в России, а права...

— Они вовсе их не знают, — воскликнул молодой Е., входя из двери. — Bonjour!

Майор. В учебных книгах пишут вздор. Я вчера читал «Новую всеобщую географию», где между прочими нелепостями сказано, что река Даль-Ельва величайшая в Швеции, — это все равно, что река ривьера Сена протекает в Париже.

Е. Il y a une espèce des chiens en Russie, qu'on nomme sobaki...[1]

Майор. ...что Аккерман стоит на берегу Черного моря...

Е. Не сердись, майор. Я поправлю твой humeur[2] прекрасным произведением...

Майор. Верно, опять г—жа Дурто или bon-mot[3] камердинера Людовика XV? Я терпеть не могу тех анекдотов, которые давно забыты в кофейнях в Париже.

Е. Оставь анекдоты. Это оригинальные стихи одного из наших молодых певцов!

Майор. Я стихов терпеть не могу!

Е. Comme vous êtes arrieré.[4]

Майор. Этот-то комплимент я вчера только слышал от [моего] генерала О.

Е. Но оставим! Послушай стихи. Они в духе твоего фаворита Шиллера.

Майор. Ну, что за стихи?

Е. «Наполеон на Эльбе». В «Образцовых сочинениях»...

Майор. Если об Наполеоне, то я и в стихах слушать буду от нечего делать.

Е. *(начинает читать).*

Вечерняя заря в пучине догорала,
Над мрачной Эльбою носилась тишина,
Сквозь тучи *бледные* тихонько пробегала
Туманная луна...

Майор. Не бледная ли луна сквозь тучи или туман?

Е. Это новый оборот! У тебя нет вкусу (слушай):

Уже на западе седой, одетый мглою
С равниной синих вод сливался небосклон.
Один во тьме ночной *над дикою скалою*
Сидел Наполеон!

---

[1] Есть порода собак в России по названию собаки (франц.). — *Ред.*
[2] Дурное настроение (франц.). — *Ред.*
[3] Острота (франц.). — *Ред.*
[4] Какой вы отсталый человек (франц.). — *Ред.*

М а й о р. Не ослушался ли я, повтори.

Е. повторяет.

М а й о р. Ну, любезный, высоко ж взмостился Наполеон! На скале сидеть можно, но над скалою... Слишком странная фигура!

Е. Ты несносен... *(Читает.)*

Он новую в мечтах Европе цепь ковал
И, к дальним берегам возведши взор угрюмый,
Свирепо прошептал:
«Вокруг меня всё мертвым *сном почило,*
Легла в туман пучина бурных волн...»

М а й о р. Ночью смотреть на другой берег! Шептать свирепо! *Ложится в туман* пучина волн. Это хаос букв! А грамматики вовсе нет! В настоящем времени и настоящее действие не говорится в прошедшем. *«Почило»* тут весьма неудачно!

— Это так же понятно, как твоя Атлантида, — прибавил я.

Е. Не мешайте, господа. Я перестану читать.

М а й о р. Читай! Читай!

Е. *(читает).*

Я здесь один мятежной думы полн...
О, скоро ли, *напенясь под рулями,*
Меня помчит покорная волна.

М а й о р. Видно, господин певец никогда не ездил по морю — волна не пенится под рулем, — под носом.

Е. *(читает).*

И спящих вод прервется тишина?
Волнуйся, ночь, над Эльбскими скалами!

М а й о р. Повтори... Ну, любезный друг, ты хорошо читаешь, он хорошо пишет, но я слушать не могу! На Эльбе ни одной скалы нет!

Е. Да это поэзия!

М а й о р. Не у места, если б я сказал, что волны бурного моря плескаются о стены Кремля, или Везувий пламя изрыгает на Тверской! Может быть, ирокезец стал бы слушать и ужасаться, а жители Москвы вспоминали бы «Лапландские жары и Африканские снеги». Уволь! Уволь, любезный друг!

1821 или 1822

О РАБСТВЕ КРЕСТЬЯН

ВСТУПЛЕНИЕ

Назад тому года с два попалась мне в руки тетрадь о необходимости рабства в России. Четкими словами имя Ростопчина (как сочинителя) было обозначено на обвертке. Странно и досадно русскому читать такой сброд мыслей и суждений; если можно допустить, что сочинитель рассуждать умеет, то все, что можно было понять из этого хаоса литер и слов, все состояло в том, что господские крестьяне пользуются всеми выгодами, каких и самый век Астреи не представляет нам. Между тем как эти счастливцы в изорванных рубищах, с бледными, изнуренными лицами и тусклыми взорами просят не у людей (ибо владельцы их суть тираны), но у судьбы пищи, отдыха и смерти.

РАССУЖДЕНИЕ

Равенство в мире быть не может, ибо физические и нравственные причины суть уже тому причиною; но кто дал человеку право называть человека *моим* и *собственным?* По какому праву тело и имущество и даже душа оного может принадлежать другому? Откуда взят этот закон торговать, менять, проигрывать, дарить и тиранить подобных себе человеков? Не из источника ли грубого, неистового невежества, злодейского эгоизма, скотских страстей и бесчеловечья?

Взирая на помещика русского, я всегда воображаю, что он вспоен слезами и кровавым по́том своих подданных; что атмосфера, которою он дышит, составлена из вздохов сих несчастных; что элемент его есть корысть и бесчувствие.

Предки наши свободные, предки с ужасом взглянули бы на презрительное состояние своих потомков. Они в трепетном изумлении не дерзали бы верить, что русские сделались *рабами,* и мы, чье имя и власть от неприступного Северного полюса до берегов Дуная, от моря Балтийского до Каспийского дает бесчисленным племенам и народам законы и права, мы, внутри самого нашего величия, не видим своего уничижения в рабстве народном.

Какое позорище для каждого патриота видеть вериги, наложенные на народ правом смутных обстоятельств и своекорыстия. Зло слишком очевидно, чтобы самый недальновидный зритель не постигал его.

Но руководимый собственным опытом и вниманием на состояние господских крестьян в России, я решился самым кратким образом изобразить то, что называют необходимостью, даже благом для народа русского (я говорю о господских крестьянах). Цель моя есть: 1. Открыть глаза и вывести из заблуждения незнающих. 2. Выставить на сцену софизм бесчувственных эгоистов и тиранов народных.

Странно и бесполезно было бы, если б я стал опровергать мнение и пустые доказательства сочинителя о необходимости рабства русских крестьян, вышедшие под именем Ростопчина: верить не можно и не должно, чтобы человек, мыслящий как человек, мог написать такой вздор. Сочинитель, конечно, не видал, не знал и едва ли слышал, в какое ужасное состояние повергнута большая часть крестьян господских.

Нельзя без содрогания смотреть на быстрый переход от невинности и простоты к закоснелости развращения нравов народа русского.

Угнетение произвело в них отчаянное бездействие. Пример невежествующих или развращенных дворян поработил и самые чувства их к одной цели: пьянство, и что всего вреднее, что самые законы, коих исполнители суть дворяне, весьма слабо ограждают от насилия — безопасность, дом, имения, жен, дочерей и самую жизнь бедных и несчастных крестьян от владельцев. Екатерина уничтожила слово «рабство» на бумаге, почему ж не уничтожила его сущности дела? Весьма справедливо сказал Гельвеций, что дворяне есть класс народа, присвоивший себе право на праздность, но дворяне наши, позволяющие себе все и запрещающие другим все, есть класс самый невежествующий и развращеннейший в народах Европы.

Ниже сего я примерами изложу, сколь вредно рабство для народа русского, рожденного быть свободным. Александр в речи своей

к полякам обещал дать конституцию народу русскому. Он медлит, и миллионы скрывают свое отчаяние до первой искры. А если бы его взоры могли обнять все мною сказанное, он бы не медлил ни минуты.

Досадно и смешно слышать весьма частые повторения, что народу русскому дать Свободу и Права, ограждающие безопасность каждого, — рано, как будто бы делать добро и творить Суд правый может быть рано!

«Ум может стариться, как и тело», — сказал Аристотель, — так точно и законы в государстве. Россия, весьма быстро восшедшая на степень своей гигантской славы и управляемая прежними законами, с поврежденными переменами, требует необходимого и скорого преобразования. Для коммерческих действий народа, при сильной деятельности, необходимы свободные права. Просвещение, как бы внезапно вторгнувшееся в умы граждан, заставило многих устремить взоры свои на *благоденствие* отечества, ибо могущество его при рыхлом основании может так же скоро обратиться в ничтожество, как и в степень возвышения. Дворянство русское, погрязшее в роскоши, разврате, бездействии и самовластии, не требует перемен, ибо с ужасом смотрит на необходимость потерять тираническое владычество над несчастными поселянами. *Граждане! тут не слабые меры нужны, но решительность и внезапный удар!*

В Греции Ареопаг осудил на смерть ребенка, который выколол глаза птице, — я могу более тысячи примеров предложить, где злодеяния помещиков превышали всякое вероятие. При самой мысли невольно содрогаешься о правилах и самоуправии искаженных наших патрициев! Сколько уголовных преступлений без окончания и решения сокрыто в архивах! В отношении преступлений дворян противу крестьян: я изложу вкратце главные причины, побудившие к скорой свободе поселян и перемене образа управлений. [1]

1. Сколь бы сильно законы ни ограждали права несчастных слабых поселян, но, *подданный* своему владельцу, он остается всегда в раболепном унижении и низость его состояния делает его подобным бессловесному. Не *человек созревает до свободы,* но свобода делает его человеком и развертывает его способности. [2]

---

[1] Примечание. Поселяне русские всегда были свободны, но необходимость порядка и недостаток прав сделали их на время рабами, и время это длится столетия.

[2] Примечание. Голос некоторых невежд «еще рано, еще умы не готовы» означает или выражает отголосок деспотизма и малодушия. Делать добро и действовать благородно гораздо лучше рано, нежели поздно.

2. Продажа детей от отцов, отцов от детей и продажа вообще людей есть дело, не требующее никаких доказательств своего ужасного и гнусного начала; отсюда возрождается и бесчувствие и одичалость *поселян господских*. Может ли сын уважать отца своего, когда, оторванный от него из колыбели, он привык видеть над собою сильнейшую власть и участь свою зависящею единственно от помещика? Как часто сын по приказанию господина должен палками или розгами сечь отца своего! При единой сей мысли чувствительное сердце требует скорого действия и уничтожения злодеяний!!.

3. Презренное и гнусное заведение seралей сделалось с некоторого времени обыкновением подлых дворян русских. Крестьянин, не уверенный в собственности приобретенного им имущества, равно не уверен в принадлежности себе жены и юных дочерей своих. Единственное достояние его, семейство, делается часто жертвой гонений. Наружная красота жены требует отдачи его в солдаты, красота дочери лишает его семейных удовольствий, ибо от него насильственно отрывают подпору его старости. Как часто старец в сединах трудится в кровавом поте лица без отдыха, для того чтобы прелюбодей господин имел способы купить хорошее платье наложнице своей, его дочери! Отсюда начинается развращение нравов.

Каждое семейство крестьян встречает и провожает солнце в печали; каждое почти семейство помещиков заключает содом сплетней и внутренних несогласий. [На пользу ли дворянам права? Нет!]

4. Дворяне русские есть что-то варварское, но не азиатское, ибо вообще роскошь азиатов заключается в числе наложниц и пышных уборов, оружий, одежде. У нас все это искажено и увеличено, — определить можно, что посредственный помещик держит у себя музыку, певчих и множество тунеядцев под именами дворецких, конторщиков, писарей, камердинеров и пр. и пр.: так что можно предполагать, что с 500 душ 50 лучших людей составляют дворню, и народ самый развращеннейший. Тогда как эти 50 человек могли бы обрабатывать землю и приносить ощутительную пользу для отечества.[1] В массе здесь начинает теряться *начало политической экономии,* и фабрики и все заведения вообще не суть полезны, когда мы не обратим взора на экономию рук человеческих. Я видел по нескольку десятков девок, трудящихся над плетением кружев и вя-

---

[1] Примечание. Из этого числа надо исключить имения богатых бояр русских и почти неприметного числа людей благомыслящих в среднем классе, где поселяне платят небольшой оброк без всякого отягощения. Для сих последних свобода и теперешнее их состояние не будут иметь различия.

занием чулков, тогда как одна таковая другим честным ремеслом могла бы заработать вдвое или втрое более. Фабрики и заведения наши, приводимые в действие рабами, никогда не принесут такой выгоды, как вольные, ибо там — воля, а здесь — принуждение, там — договор и плата, здесь — необходимость, там — собственный расчет выгод и старание, здесь — страх наказания только.

5. Как бы сильно законы ни ограждали и сколько бы правительство ни обращало внимания и попечения о благосостоянии крестьян, но правосудие, находящееся в руках дворянских единственно, всегда будет употребляемо в защиту собственную и в утеснение слабейших, по самому праву натуральному. Крестьянин, не имеющий никакого голоса и не смеющий доносить, жаловаться и быть свидетелем на своего помещика, *может ли созреть для свободы?* Нет! Отягощение приводит его в отчаяние, бездействие и невнимание к собственному; невзирая на нищету семейства, на собственную наготу, он пропивает первые попавшие ему деньги, желая на минуту усыпить в скотском бесчувствии свое ужасное положение. Полуразвалившиеся хижины их представляют первобытные поселения варваров, и безмолвное повиновение, ожесточая его, не приводит к другому способу пропитать и удовлетворять нужды свои, как через грабеж и воровство, — отсюда проистекает последствие *уголовных преступлений.*[1] Безвременная и усиленная работа, отягощающая все физические силы человека, изнуряет его преждевременно и открывает путь к ранней смерти; за сим несоблюдение правил и обрядов церковных (ибо они часто бывают принуждаемы работать в воскресные и праздничные дни) послабляют силу веры, единственную опору и утешение человека, ибо, не имея времени исполнить долг христианский, он непременным образом отвыкает от священной обязанности и, будучи принужден первыми началами, впадает в ужасное положение *грубого безверия.*

6. Хлебопашец из принуждения может ли достигнуть когда-либо усовершенствования в искусстве земледелия, тем паче когда вся собственность его принадлежит господину? И если помещик учит грамоте некоторых из подданных своих, то не для чего иного, чтоб иметь то же употребление, какое имеет в виду берейтор, обучающий лошадь. Как часто последние жатвы пропадают у несчастного крестьянина за непогодою потому, что помещик мыслит единственно

---

[1] Примечание. По губерниям Курской, Орловской и Воронежской воровство есть вещь весьма обыкновенная; я знаю лично помещиков, кои принуждают к сему своих поселян и в случае открытия преступления суть их вернейшие защитники и ходатаи.

об исполнении каких-нибудь проектов! Винокуренные заводы, большею частью приводимые в действие подданными, служат решительным средством к их гибели, а роскошь помещиков совершенно довершает (эти потери экономии политической) упадок внутреннего промысла и коммерции. Наконец, скажу вместе с неподражаемым Монтескье: «что люди здесь имеют один удел с бессловесными: внутреннее влечение, повиновение, казнь» (глава 10).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аристотель не может верить, что какая-либо добродетель была свойственна рабам, и весьма справедливо: причины, изложенные здесь, не требуют ли побуждения общего к скорому преобразованию? И не имеют ли права упрекать нас иностранцы в варварстве? Благоденствие нации не заключается в благоденствии нескольких сот людей. Протекшие времена и худые начала, послабя все пружины в махине государства, очевидную готовили нам гибель, и посеянные семена зла и разврата, пустившие глубокий корень, не представляют ли ныне плоды самые ядовитые? Так, в царствование Александра. . . [1]

1821(?)

---

[1] На этом текст рукописи обрывается. — *(Ред.)*.



ПРИМЕЧАНИЯ

При жизни Раевского было напечатано незначительное количество стихотворений раннего периода, появившихся на страницах «Духа журналов», «Украинского вестника» и «Украинского журнала». При аресте поэта рукописи его были отобраны. Военно-судная комиссия при Литовском отдельном корпусе, тщательно проверив все бумаги Раевского, нашла среди них «возмутительные» стихотворения и приобщила их к следственному делу (хранится в Центральном гос. военно-историческом архиве). Далеко не все рукописи оказались в руках комиссии. Об этом свидетельствует хотя бы факт публикации нескольких стихотворений поэта, автографы которых, за отдельным исключением, неизвестны. Видимо, какая-то часть рукописей была утрачена или уничтожена самим Раевским, а кое-что могло остаться у друзей и родственников.

В сущности, с Раевским, как поэтом, русский читатель впервые познакомился в 1887—1890 годах по публикациям «Русской старины». Здесь были обнародованы стихотворения, написанные в Тираспольской крепости, и несколько поздних произведений.

В 1926 г. П. Е. Щеголев в статье «Владимир Раевский (Первый декабрист)» указывал, что «в рукописях находится еще много неизвестных стихотворений» Раевского (П. Е. Щеголев, Декабристы, М. — Л., 1926, с. 46). Можно не сомневаться, что под «неизвестными стихотворениями» Щеголев имел в виду те самые черновые автографы, которые были отобраны при аресте Раевского в 1822 г. и приобщены к делу. Из этого дела Ю. Г. Оксман напечатал (в сб. «Атеней», Л., 1926, кн. 3) «Послание Г. С. Батенькову» и на страницах «Литературного наследства» (№ 16—18, М., 1934) — вариант черновой заметки под названием «Вечер в Кишиневе». Затем наиболее значительные стихотворения Раевского, извлеченные из архива, были опубликованы в моей книге «В. Ф. Раевский. Новые материалы» (Л. — М., 1949) и в работе П. С. Бейсова «Новое о В. Ф. Раевском» («Ученые записки Ульяновского государственного педагогического института. Пушкинский юбилейный сборник», Ульяновск, 1949).

В 1952 г. в сборник Малой серии «Библиотеки поэта» (2-е изд.) вошли почти все стихотворения Раевского как уже бывшие в пе-

чати, так и обнаруженные в бумагах военно-судного дела. Стихотворения Раевского, отобранные при аресте (они образуют основной состав сборника), печатались по автографам Центрального государственного военно-исторического архива. Большую помощь в текстологической подготовке неопубликованных стихотворений оказали в 1952 г. ныне покойный Б. В. Томашевский, а также И. Н. Медведева.

В 1961 г. в Ульяновске вышли «Сочинения» В. Ф. Раевского, подготовленные П. С. Бейсовым. В сравнительно небольшую книжку (290 страниц) включены стихотворения, проза, письма и материалы следственного дела. Стихотворения Раевского представлены по более ранним публикациям П. С. Бейсова в «Ульяновском сборнике» (1945), но со значительными исправлениями в текстах. К сожалению, П. С. Бейсов не оговаривает в примечаниях этих исправлений, поэтому остается неясным их происхождение. «Сочинения» не вносят ничего существенно нового в состав стихотворного наследия Раевского, за исключением «Послания другу», приведенного здесь почти целиком (в книге «В. Ф. Раевский. Новые материалы», Л.—М., 1949. мною был опубликован небольшой отрывок из этого текста).

Проблема установления достоверного текста стихотворений Раевского — задача необычная, чрезвычайно сложная и, видимо, до конца не разрешимая. Трудность заключается прежде всего в том, что бумаги с автографами, захваченные при аресте, были подшиты в следственном деле по большей части совершенно произвольным образом, так что строки одного и того же стихотворения оказывались разбросанными по разным местам.

До сих пор, например, неясным представляется вопрос о соотношении нескольких крупных фрагментов. Делались попытки восстановить авторский замысел — присоединить эти отрывки к тому или иному тексту, однако нет оснований считать эти решения достаточно убедительными (см. примеч. к №№ 43, 45—46).

Наряду с разрозненными листами автографов в деле сохранилась тетрадь с рукописными текстами стихотворений: «Глас правды», «Свидание», «Идиллия», «К Лиде», «К ней же», «Послание Б<атеньков>у» («Когда над родиной моей. . .»), «Час меланхолии». Ю. Г. Оксман считает, что «перед нами не обычная рабочая тетрадь, а рукопись, намечавшаяся к печати. Однако не только сборник в целом, но и ни одно из включенных в него произведений не было опубликовано при жизни Раевского. Видимо, сам поэт остался неудовлетворенным первыми итогами своей литературной работы. Об этом можно судить прежде всего по той тщательной правке, которой подвергнут был весь материал сборника — сперва над строками и на полях стихотворений, а затем, когда рукопись из беловой превратилась в черновую, еще и на отдельных листах, заполненных исчерканными вариантами новых редакций отвергнутых текстов» («Литературное наследство», т. 60, кн. 1, М., 1956, с. 519). Для нас эта «особая тетрадь» является обычной рабочей тетрадью, собранием черновых автографов поэта.

Публикация рукописей Раевского осложняется также тем, что большинство стихотворений не имеет окончательных редакций, т. е. они дошли до нас в недоработанном виде. Обилие черновых вариантов, вычерков, перестановок, замена отдельных строк и целых фраг-

ментов, неразборчивость почерка — все это часто делает невозможным установить цельный и вполне достоверный текст произведения.

Характер настоящего издания во многом определяется состоянием рукописей поэта. В сборник входят не только завершенные стихотворения, но и большое количество незаконченных, недоработанных и даже несколько отрывков (назначение их неясно), существенно расширяющих наше представление об идейно-художественных устремлениях поэта. Данный сборник стихотворений Раевского почти полностью исчерпывает его поэтическое наследие. Остались за пределами издания несколько небольших малоинтересных набросков и стихотворение «К Нисе»,[1] дошедшее до нас в совершенно аморфном виде.

Другие редакции и варианты, важные для понимания эволюции и творческой лаборатории Раевского, выделены в особый раздел.

Стихотворные произведения в нашем издании делятся на три раздела, определяющиеся биографией поэта: ранние стихотворения (1812—1821), стихотворения периода заключения в Тираспольской крепости (1822—1824) и стихотворения, написанные в ссылке (1828—1846). В разделе «Приложение» печатаются: «Вечер в Кишиневе», отрывок, важный для понимания взглядов Раевского на поэзию; и заметка «О рабстве крестьян» — замечательный документ антикрепостнической мысли, являющийся прекрасным комментарием к политической лирике Раевского.

Между текстами настоящего издания и сборником Малой серии имеются разночтения; они должны быть отнесены за счет той дискуссии, которая велась в научной литературе (см.: Ю. Г. Оксман, Ранние стихотворения В. Ф. Раевского. — «Литературное наследство», т. 60, кн. 1, М., 1956, с. 526—530; ср. комментарий П. С. Бейсова в кн.: В. Ф. Раевский, Сочинения, Ульяновск, 1961, с. 253—255, 260—262; В. Г. Базанов, Спорное в декабристской текстологии. — «Русская литература», 1960, № 2, с. 181—195). Принимаемые в этом издании поправки к текстам в общей форме оговорены в каждом отдельном случае: «печ. по такому-то источнику с уточнениями».

Примечания имеют единообразную структуру: после порядкового номера указывается первая публикация, затем следующая по времени, если она содержит какие-либо варианты текста, и, наконец, ссылка на источник, по которому стихотворение воспроизводится в настоящем сборнике. Звездочка перед порядковым номером означает, что к данному стихотворению имеется материал в разделе «Другие редакции и варианты».

Произведения расположены в хронологической последовательности. Следует отметить, что многие стихотворения первого раздела датированы приближенно и предположительно, поскольку авторские даты, как правило, вообще отсутствуют. Бесспорным является лишь то, что все эти стихи были написаны до ареста 1822 г., т. е.

---

[1] Реконструированный вариант его под загл. «Хлое (из Боало)» опубликован П. С. Бейсовым в «Ученых записках Ульяновского гос. пединститута», 1949, с. 270. Там же (с. 270—271) приведен столь же недоработанный текст под загл. «Вакхическая песнь», представляющий собой наброски неосуществленного стихотворения.

в период между 1812 и 1821 гг. Что же касается водяных знаков, обозначающих год выпуска бумаги, которая использовалась Раевским, то считать их надежными ориентирами при датировке стихотворений не приходится: Раевский мог записывать свои новые стихи на бумаге старого образца и наоборот: переписывать старые вещи на бумаге нового выпуска. При датировке произведений первого раздела кое-где приняты во внимание содержащиеся в них намеки на исторические события и на обстоятельства биографии поэта. В других случаях вместо даты указывается более или менее очевидный период, в течение которого было написано стихотворение (1810-е годы, вторая половина 1810-х годов и т. п.). Даты, заключенные в угловые скобки, означают год прижизненной публикации произведения. Даты, сопровождаемые вопросительным знаком, являются гипотетическими. Все редакторские конъектуры и неразборчивые слова, прочтение которых предположительно, заключены в угловые скобки; в квадратных скобках приведены слова, зачеркнутые в рукописи.

Условные сокращения, принятые в примечаниях и в разделе «Другие редакции и варианты»

ГБЛ — Рукописный отдел Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина.

ГПБ — Рукописный отдел Государственной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Изд. 1961 — В. Ф. Раевский, Сочинения. Вступительная статья, подготовка текста и примечания П. С. Бейсова, Ульяновск, 1961.

ЛН — «Литературное наследство», т. 60 (Декабристы-литераторы), ч. 2 (кн. 1), М., 1956.

«Новые материалы» — В. Г. Базанов, В. Ф. Раевский. Новые материалы, Л. — М., 1949.

Сб. 1952 — В. Раевский. Стихотворения. Вступительная статья, подготовка текста и примечания В. Базанова, «Б-ка поэта» (М. с.), Л., 1952.

«Ульяновский сборник» — П. Бейсов, Новое о В. Ф. Раевском. («Ученые записки Ульяновского государственного педагогического института. Пушкинский юбилейный сборник», Ульяновск, 1949).

«Ученые записки» — «Ответные пункты майора Раевского по черновым его бумагам» и «Ответные пункты по оправданию» — публикации П. С. Бейсова («Ученые записки Ульяновского государственного педагогического института», 1953, вып. 5).

ЦГАОР — Центральный государственный архив Октябрьской революции, фонд III Отделения.

ЦГВИА — Центральный государственный военно-исторический архив, фонд Главного военно-судного управления, 1827, оп. 11, д. 42, лит. В, т. 2 («Черновые разные бумаги, принадлежащие майору 32-го егерского полка Раевскому 5-му»).

СТИХОТВОРЕНИЯ

СТИХОТВОРЕНИЯ 1812—1821

* **1.** «Литературный Ульяновск», 1947, № 1, с. 125; «Новые материалы», с. 169 (др. ред.). Печ. по первой публикации с уточнениями. По-видимому, написано в конце 1812 или начале 1813 г., до смерти М. И. Кутузова (16 апреля 1813 г.). *Старец вождь* — М. И. Кутузов. *Новый Ксеркс* — Наполеон I. Далее говорится о русских победах над вторгшимися в Россию врагами: о свержении татарского ига в XIV в. (*Батыевы могилы*), освобождении Москвы от польских интервентов (*сарматы*) в 1611 г., полтавской победе над шведами в 1709 г. *Жуковский в струны загремит.* Имеется в виду известное стихотворение Жуковского «Певец во стане русских воинов», опубликованное в конце 1812 г.

2. «Ульяновский сборник», с. 257. В конце автографа приписка: «Это немного новее и трогательнее, чтобы «О девица, о красавица. . .» и пр. только несколько голосов пело. Впрочем, вы сами лучше знаете». Датируется по содержанию.

3. «Ульяновский сборник», с. 256. Датируется по содержанию.

4. «Дух журналов», 1816, кн. 51, с. 1175, с пометой: «Днестр. 30 ноября» и подписью: «Вл. Ра. . . .ий». Датируется по времени пребывания Раевского на Днестре. Обращено к генерал-лейтенанту А. И. *Горчакову* (1766—1855), участнику походов Суворова и Отечественной войны. Ему была поручена защита редутов близ деревни Шевардиной, прикрывающей подступы к Бородинскому полю. Горчаков оставил армию после Бородинского сражения, будучи тяжело ранен.

5. «Дух журналов», 1816, кн. 41, с. 705, с пометой: «Тульчин». Датируется по времени пребывания в Тульчине. Обращено к прапорщику 22-й артиллерийской бригады Н. С. *Ахматову,* сослуживцу Раевского (см. ЛН, с. 526). *Зоилы* — нарицательное наименование критиков-хулителей по имени Зоила, древнегреческого софиста III в. до н. э. *Колосс надменный* — Наполеон I. *Цирцея* (греч. миф.) — прекрасная волшебница в «Одиссее» Гомера; здесь — коварная обольстительница.

6. Сб. 1952, с. 61. Датируется по упоминанию о конце Отечественной войны (1816). По-видимому, обращено к Петру Григорьевичу Приклонскому, адъютанту корпусного командира А. И. Горчакова, одному из близких друзей Раевского (см. о нем. примеч. 9 и 10).

7. «Новые материалы», с. 144, отрывок. Печ. по изд. 1961, с. 60. Приводится с пропуском строк, неудобных в печати. Датируется по упоминанию Ушицкого повета в Подольской губернии. Раевский служил в Каменец-Подольске (на Днестре) в 1816—1817 гг. Адресат неизвестен; возможно, послание обращено к П. Г. Приклонскому (см. о нем примеч. 6, 9 и 10). *В красном старом колпаке.* Красный колпак — шапка французских революционеров, эмблема свободомыслия. *Сатрап* — правитель, вельможа, облеченный властью, в ряде древних

восточных стран; здесь — деспотичный начальник, приближенный царя, вообще влиятельное лицо в государственном аппарате. *Триктрак* — старинная игра в шашки и кости. *Фидий* — (ум. ок. 432 до н. э.) — древнегреческий скульптор. *Грессет* — Жан-Батист Грессе (1709—1777) — французский поэт, автор эпикурейских стихов, антиклерикальной новеллы *«Vert-Vert»* («Вер-Вер», 1734), осмеивающей монастырские нравы. В бумагах Раевского сохранился восторженный отзыв о Грессе: «Первое сочинение, которое выдал в публику Грессет, по общему мнению есть «Vert-Vert». Ему было тогда 24 года. Скромность, истинная печать таланта удерживали его до того времени от лестного стремления быть известным. Новость предмета (в сем сочинении), где он описывает жизнь монастырок, и со всею скромностью, справедливостью, легкость слова, живое воображение и гармония стихов обратили на него взоры всех любителей чистого вида...» (изд. 1961, с. 250—251). *Вобан* Себастьян ле Претр (1633—1707) — французский военный инженер. *Кассини* Джованни Доменико (1625—1712) — астроном, член Парижской академии наук, итальянец по происхождению. *Фридрих II* (1712—1786) — прусский император, автор ряда сочинений, посвященных военному искусству. *Жомини* Г.-В. (1779—1869) — теоретик военного дела и военно-исторический писатель; швейцарец по происхождению, Жомини состоял на русской службе. *Грекур* Жан-Батист (1684—1743) — французский поэт, автор фривольных стихотворений. *Из пале-рояльских стен.* Пале́-рояль — королевский дворец в Париже. *Приап* (греч. миф.) — бог плодородия и чувственных наслаждений. *Гомор-Содом.* Содом и Гоморра — города, упоминающиеся в Библии, население которых, согласно легенде, предавалось необузданному разврату; здесь названия этих городов употреблены в нарицательном значении. *Позитура* (лат.) — положение тела, осанка. *Ландкарт* — географическая карта. *Отрасль Мида* — вздорный и невежественный человек; Мидас (греч. миф.) — царь, которого Аполлон в наказание за самоуверенность и невежество наградил ослиными ушами. *Отрасль Селены* — рога быков, запряженных в колесницу Селены, богини Луны. *Баул* — дорожный сундук. *Креатура* — послушный исполнитель воли влиятельного лица.

8. «Украинский вестник», 1817, № 7, с. 82; за подписью «В... Р—ий» и с пометой: «Днестр». В 1816—1817 гг. Раевский служил в Каменец-Подольске на Днестре, после чего вынужден был на время уйти в отставку и вернуться на родину в село Хворостянку Старооскольского уезда Курской губ. В стихотворении Ю. Г. Оксман справедливо видит отражение настроений той самой поры, когда служба в армии для вольнодумца Раевского сделалась невозможной (см. ЛН, с. 518). *Пенаты* или *лары* (греч. миф.) — боги-покровители домашнего очага. *Крезус* — Крез (см. примеч. 10). *Беллона* (римск. миф.) — богиня войны, мести.

*** 9.** «Новые материалы», с. 187. В автографе — помета: «Каменец-Подольск», являющаяся основанием для датировки. 30 января 1817 г. Раевский уволился со службы; при прощании с друзьями, видимо, и было написано это стихотворение. Один из отрывков-вариантов послания «Мое прости друзьям» Ю. Г. Оксман считает самостоятельным стихотворением — посланием к П. С. Пущину. «Из большого

послания он, — пишет Ю. Г. Оксман о Раевском, — извлек восемнадцать стихов, обращенных к Кисловскому («Кисловский, друг свободы...»), и после небольшой литературно-технической отделки переадресовал их Пущину («О! Пущин, друг свободы»). Послание, переменив фамилию адресата, получило более широкий общественно-политический резонанс: Пущин, один из виднейших членов Союза Благоденствия, «грядущий наш Квирога», как назвал его перед тем Пушкин, имел гораздо более прав и на то высокое звание «друга свободы», которое присвоено было Раевским в 1817 г. Кисловскому» (ЛН, с. 523). Этот отрывок (см. варианты, с. 189) Ю. Г. Оксман называет «Посланием к П. С. Пущину» на основании всего лишь одной строки: «О! П...., друг свободы», и датирует его 1822 г. Думается, однако, что отрывок — ранний вариант стихотворения «Мое прости друзьям». Что касается строки «О! П...., друг свободы», то скорее всего Раевский упоминал в ней Приклонского. В стихотворении «Мое прости друзьям» адресаты обозначены заглавной буквой: «П.......» или «Прик.......» (т. е. «Приклонский») и «К.......» или «Кис......» (т. е. «Кисловский»). В окончательной редакции Раевский строку «... друг свободы» переадресовывает Кисловскому:

Кис<ловский>, друг свободы,
Под сень самой природы
Нетрепетно идешь...

О Приклонском в последней редакции сказано:

Прик<лонский>, нам с тобою
Еще сквозь мрачных туч
Блестит надежды луч...

Строка «О! П<риклонский>, друг свободы» потому Раевским и отвергнута в окончательной редакции, что она оказалась неудачной, нарушающей размер. Риторическое «О!» было отброшено и вместо Приклонского, уже упомянутого в послании, появляется Кисловский. Если принять точку зрения Ю. Г. Оксмана, то надо допустить, что майор Раевский обращается к генерал-майору Пущину, своему начальнику, со стихами не оригинальными, не в честь его написанными. Едва ли Раевский был способен на столь легкомысленный поступок: стихи пятилетней давности, посвященные друзьям-офицерам, преподносить в качестве послания генералу Пущину в связи с его предполагаемым отъездом из Кишинева в 1822 г. Кроме того, отрывок, публикуемый Ю. Г. Оксманом, содержит в себе стихи вялые, менее энергичные, нежели стихотворение «Мое прости друзьям». Трудно представить, что Раевский в 1822 г. исправлял свои стихи в духе поэтики карамзинистов и вместо «самой природы» писал «святой природы», вместо «нетрепетно идешь» — «с беспечностью идешь» и т. д. П. Г. *Приклонский* и *Кисловский* — члены дружеского офицерского кружка, основанного Раевским в 1816 г. в Каменец-Подольске. Члены этого кружка в знак политического союза носили железные кольца. «По исследованию и по собственному признанию Раевского, — доносил И. И. Дибич в своем «Всеподданнейшем докладе» Николаю I, — открылось, что в 1816 г. в Каменец-Подольске точно имел он дружескую связь с находив-

шимся при генерале-от-инфантерии князе Горчакове поручиком, ныне в отставке капитаном Приклонским, также с доктором Диммером, подполковником Кисловским и штабс-капитаном Губиным и что для утверждения якобы сей связи носили они тогда же железные кольца без всякого девиза...» (П. Е. Щеголев, Декабристы, М. — Л., 1926, с. 60). Свое послание Раевский написал, уходя в отставку, прощаясь с друзьями.

*** 10.** «Ульяновский сборник», с. 257 (ранняя ред.). Печ. по «Новым материалам», с. 183. Ни одну из редакций послания нельзя считать вполне законченной. В более ранней стихотворение помечено: «Ярмолинцы. 1817 г.». Раевский пытался затушевать политическую остроту своего послания, хотя оно носило резко обличительный характер и местами звучало почти революционно: «Чем выше здание — тем ближе к разрушенью...» Письма В. Ф. Раевского к П. Г. *Приклонскому* (см. о нем примеч. 9) не оставляют сомнений в политическом характере дружеских связей. Сам культ дружбы в этой переписке необыкновенно высок: «Первое наше знакомство, казалось, было сигналом к продолжительной дружбе. Я надеюсь, что ты не изменишь слову твоему, а я с теми же простыми, но истинными, чистыми чувствами дружбы остаюсь твоей навсегда» («Ульяновский сборник», с. 298—299). В следующем письме Приклонскому от начала ноября 1819 г. Раевский говорит о назначении человека и обязанностях гражданина: «Чтоб управлять людьми, надо прежде всего научиться управлять самим собой... Чтобы достигнуть цели, надо сильней и беспрерывно действовать... Благодарность неразлучна с чистотою правил, на коих основал я всю силу моих действий». Свое письмо Раевский кончает дружеской клятвой: «...Я надеюсь, что ты будешь платить взаимностию за ту преданность и чистосердечие, с коими я по гроб мой останусь истинным другом твоим» (там же, с. 299). Эти письма прекрасно комментируют послание Раевского с его основным мотивом: «Ему неведом путь покорства, низкой лести». *И в рубище Солон дал Крезу наставленье* и т. д. Солон (ок. 638 — ок. 559 до н. э.) — законодатель Древних Афин, установивший новое государственное устройство. Согласно легенде, записанной Геродотом, закончив свои реформы, Солон в рубище бродил по Греции и попал к прославившемуся своим сказочным богатством лидийскому царю Крезу. На вопрос Креза, не является ли он счастливейшим из смертных, Солон ответил, что о счастье человека можно судить только после его смерти. Слова мудреца вспомнились Крезу в плену у персов. Когда вели его на казнь, он воскликнул, что Солон был прав. Рассказ Креза о мудрости Солона так понравился персидскому царю Киру, что он помиловал осужденного. *Велизарий* — византийский полководец VI в., был обвинен в заговоре и заключен в тюрьму; судя по легенде, он был ослеплен и потом нищенствовал; в литературе — трагический образ гражданского героя, мужественного и благородного. *Нерона с Августом в величии равняют.* Здесь Августу, первому римскому императору, время правления которого (27 до н. э. — 14 н. э.) считалось наиболее блестящим периодом римской литературы, противопоставляется Нерон, тоже римский император (54—68), известный своей жестокостью и произволом. *Херила наших дней Пинда́ром называют.*

Херил — бездарный греческий поэт IV в., имя которого стало нарицательным для обозначения бездарного писателя. Пиндар (522—448 до н. э.) — древнегреческий поэт, автор од, ставших образцом этого жанра. В конспекте истории античной литературы, составленном Раевским и сохранившемся в его бумагах, о Хериле сказано, что он, «несмотря на грубость его стихов, без вкуса, без красоты, был любим и уважаем Александром; от него он был так много одарен, как бы наилучший стихотворец. Силла в Риме обошелся столь же щедро, но не столь снисходительно с поэтом, который поднес ему плохие стихи. Он дал ему большое награждение с уговором, чтобы он никогда более не сочинял. Весьма тяжелый уговор для стихомарателя, но основанный на рассудке» (изд. 1961, с. 251). *Беатус* — нарицательное имя ханжи, святоши, лицемерного церковника. Всеми упоминаемыми здесь именами и противопоставлениями Раевский прикрывал критику русской действительности, разоблачение «сословия невежд, гордящихся породой».

11. «Ульяновский сборник», с. 287. Печ. по сб. 1952, с. 100. Автограф послания, как и автографы многих других стихотворений, были приобщены к материалам секретного дознания. При подшивке к «делу» листы рукописи соединялись в произвольном порядке. В «Ульяновском сборнике» это послание опубликовано без строфического членения подлинника и не в том порядке отдельных строф, который нам представляется единственно правильным. Датируется предположительно 1817 г., т. е. временем, когда Батеньков приехал в Сибирь, где начал служить под началом М. М. Сперанского. Послание является блестящей характеристикой будущего декабриста, ближайшего друга Раевского — Гавриила Степановича *Батенькова* (1793—1863). Вместе с Раевским Батеньков воспитывался в Дворянском полку при кадетском корпусе, вместе они воевали в 1812 г. и вместе мечтали о свободе отечества. «По вступлении в кадетский корпус, — давал Батеньков 22 марта 1826 г. показания Следственному комитету, — я подружился с Раевским... С ним проводили мы целые вечера в патриотических мечтаниях, ибо приближалась страшная эпоха 1812 г. Мы развивали друг другу свободные идеи, и желания наши, так сказать, поощрялись ненавистью к фронтовой службе. С ним в первый раз осмелился я говорить о царе, яко о человеке, и осуждать поступки с нами цесаревича» (М. В. Довнар-Запольский, Мемуары декабристов, Киев, 1906, с. 159—160). Дружба и единомыслие соединяли двух декабристов до конца жизни Батенькова, хотя друзья расстались еще задолго до декабрьских событий (в 1816 г.). *С Невтоном, с Гершелем в планетах отдаленных.* Невтон — Исаак Ньютон (1643—1727) — английский физик и математик; Вильям Гершель (1792—1871) — английский астроном, немец по национальности. *Эйлер* Леонард (1707—1783) — математик, физик, механик; швейцарец по происхождению, Эйлер значительную часть жизни провел в Петербурге, где служил в Российской академии наук. *Лагранж* Жозеф-Луи (1736—1813) — французский математик и механик. Раевский перечисляет крупнейших ученых в области точных наук, которые, несомненно, были хорошо известны Батенькову, занимавшемуся этими науками. *Я с светом раздружился! Руссо и Тимона невольно оправдал,* т. е. стал домоседом-затворником, при-

знал правоту Жан-Жака Руссо (1712—1778), замкнутого по натуре человека, склонного к уединению, и Тимона Афинского, древнегреческого мыслителя V в. до н. э., мизантропа, жившего в полной изоляции от других людей.

*12. «Атеней», 1926, кн. 3, с. 6 (вторая ред.); «Ульяновский сборник», с. 266 (первая ред.). Печ. по «Атенею». Первоначальный текст послания отличается большой политической остротой. Приготовляя стихотворение к печати, Раевский создал новый вариант его, рассчитанный на цензуру. Вместе с тем переработка послужила к улучшению текста в художественном отношении. Ранняя редакция (см. с. 190) воспроизводится здесь со стихами, которые были перечеркнуты Раевским при первоначальном редактировании. Авторская дата «1815» сомнительна, так как Батеньков отправился в Сибирь в 1816 г. По его свидетельству, в 1819 г. он получил от Раевского четыре письма (см.: М. В. Довнар-Запольский, Мемуары декабристов, Киев, 1906, с. 160). Стихотворение, очевидно, было создано в период, когда оба друга довольно часто обменивались письмами. «Сынами свободы» Раевский, должно быть, называл участников томской масонской ложи «Восточное светило», членом которой состоял Батеньков и которая была организована в 1818 г. *Атропа гибельным резцом.* Имеется в виду десять штыковых ран, полученных Батеньковым в сражении при Монмирале 30 января 1814 г. Атропа (греч. миф.) — богиня судьбы. *К Гиперборейским берегам.* Гиперборейя (греч. миф.) — блаженная страна, народ которой не знал болезней и старости; здесь имеется в виду Сибирь. *Лары* — см. примеч. 8. *Архимед* (ок. 287—212 до н. э.) — древнегреческий математик и механик. *Декарт* Ренэ (1596—1656) — французский философ и ученый. *Кант* Иммануил (1724—1804) — родоначальник немецкой идеалистической философии. *Гершель* — см. примеч. 11. Архимед, Декарт, Кант и Гершель интересовали Раевского как создатели теории мироздания (вихревая теория Декарта и теория Канта-Лапласа).

13. «Новые материалы», с. 172, где ошибочно объединено со стихотворением «Идиллия» (№ 18). Печ. по изд. 1961, с. 46. *Шарлота* — имя героини романа Гете «Страдания молодого Вертера», вошедшее в поэзию со времени увлечения этим романом и ставшее условным.

14. Сб. 1952, с. 108. *Абеон* (греч. миф.) — гений отъезжающих.

15. Изд. 1961, с. 46.

16. Сб. 1952, с. 109. *Скрижаль* — здесь: запись.

17. «Новые материалы», с. 171, без последней строки. Печ. по изд. 1961, с. 45. *Крон* (греч. и римск. миф.) — бог времени.

18. «Новые материалы», с. 172. Печ. с загл., опущенным в «Новых материалах». *Гимен* (греч. миф.) — бог бракосочетания. *Сатурн* (римск. миф.) — бог времени.

19. Сб. 1952, с. 114, под загл. «Лиде». Печ. с уточнением загл.

20. «Новые материалы», с. 173.

21. «Новые материалы», с. 174.

22. «Новые материалы», с. 175. По мнению Ю. Г. Оксмана, это стихотворение является продолжением элегии «Час меланхолии». Оба стихотворения действительно схожи по настроению и теме. Но у Раевского довольно часто встречаются «общие места», повторения однородных мотивов. Метрический строй стихотворений явно не совпадает. К тому же, по словам самого Ю. Г. Оксмана, «особая тетрадь», куда входят автографы этих стихотворений, заполнена «исчерканными вариантами новых редакций отвергнутых текстов» (ЛН, с. 519). Столь же возможно, что эти 18 стихов являются самостоятельным стихотворением или фрагментом другого незавершенного произведения.

23. «Новые материалы», с. 176. *Таврия* — старинное название Крымского полуострова. *Церера* (римск. миф.) — богиня плодородия и земледелия.

24. «Ульяновский сборник», с. 272. *Пинд* — горный хребет в Греции, в древности считался местом пребывания бога Аполлона; в литературе Пинд — символ искусства, поэзии, творческого вдохновения. *Пиериды* (греч. миф.) — музы.

25. Сб. 1952, с. 121.

26. «Ульяновский сборник», с. 271. *Прометей* (греч. миф.) — титан, похитивший для людей огонь с неба, за что был жестоко наказан Зевсом, приковавшим его к одной из вершин Кавказа; образ мужественного защитника и покровителя людей занял видное место в революционно-романтической поэзии, став символом борца за человеческую свободу и счастье. *Терпсихора* (греч. миф.) — муза танца. *Сын Киприды* — Эрот; Киприда (греч. миф.) — одно из имен богини любви и красоты Афродиты. *Геба* (греч. миф.) — богиня юности, дочь Зевса; она подавала богам нектар — напиток, дарующий вечную юность и бессмертие.

27. «Ульяновский сборник», с. 277. *Неверный слепец* — рок.

28. «Ульяновский сборник», с. 278. *Филомела* — соловей; Филомела (греч. миф.) — дочь афинского царя Пандиона, которая была превращена в соловья (по другому мифу — в ласточку). *Парки* (римск. миф.) — богини судьбы и смерти.

29. Сб. 1952, с. 130.

30. «Ульяновский сборник», с. 268. *Лауры пламенный певец* — итальянский лирик Франческо Петрарка (1304—1374), воспевавший в сонетах Лауру.

31. «Новые материалы», с. 132. Печ. по сб. 1952, с. 132. Черновой фрагмент незаконченной «Вакхической песни». Многочисленные варианты ее даны в «Новых материалах», с. 131. *Парки* — см. примеч. 28. *Брег Коциты.* Коцит (греч. миф.) — река в подземном царстве мертвых.

32. Сб. 1952, с. 55. В черновом автографе помета: «Ода 27. Подражание Горацию». Текст Раевского отдаленно напоминает 32-ю оду Горация (кн. 1), в которой также имеет место обращение к лире. *Цирцея* — см. примеч. 5. *Феба самого... Убор и украшенье.* Речь идет о лире, с которой обычно изображался бог искусств Феб (греч. миф.).

33. «Украинский журнал», 1824, № 3, с. 31. Это и два других стихотворения («Бесплодная любовь» и «Картина бури») были написаны Раевским до его ареста (1822), по всей вероятности они предназначались для «Украинского вестника», который закрылся в 1819 г. 1 ноября 1819 г. Раевский писал своему другу П. Г. Приклонскому (см. о нем примеч. 9 и 10): «Выпиши на этот год <1820> «Украинский вестник», который издают при Харьковском университете, там иногда увидишь слабые опыты моего пера» («Ульяновский сборник», с. 302). Вместо прекратившегося «Украинского вестника» в 1824 г. стал выходить «Украинский журнал», где и были опубликованы «опыты пера», присланные Раевским в Харьков еще в 1819 г. *Филомела* — см. примеч. 28. *Ганимед* (греч. миф.) — прекрасный мальчик, взятый богами на небо, где он стал виночерпием Зевса; Ганимед — олицетворение веселья и наслаждения. *Средь марсовых полей* — на полях сражений; Марс (римск. миф.) — бог войны.

34. «Новые материалы», с. 178. *Сатурн* — см. примеч. 18. *Эскулап* (греч. миф.) — бог врачебного искусства, врач вообще. *Арак* — спиртной азиатский напиток из риса. *Катон* Марк Порций (95—46 до н. э.) — политический и государственный деятель Древнего Рима, оратор. *Цицерон* Марк Туллий (106—43 до н. э.) — государственный деятель Древнего Рима, знаменитый оратор. *Бордо, рейнвейн, вендеграв* — марки вин. *Аристипп* (р. ок. 430 до н. э.) — древнегреческий философ, создавший учение об удовольствии. *Эпикур* (342—270 до н. э.) — древнегреческий философ, считавший главным стимулом жизни удовольствие и наслаждение. *Харон* (греч. миф.) — перевозчик душ умерших через реки подземного царства мертвых. *Креатуры* — здесь: создания.

* **35.** «Украинский журнал», 1824, № 19—20, с. 45. *Цитерская царица* (греч. миф.) — богиня любви Афродита, культ которой был особенно распространен на острове Цитера.

* **36.** «Новые материалы», с. 149; «Ульяновский сборник», с. 264 (др. ред.). Печ. по сб. 1952 г., с. 80, с уточнениями. Автограф в тетради ЦГВИА состоит из ряда строф с вычерками, заменами и отдельных набросков, соотношение которых с основной частью текста неясно. В этом материале можно различить две редакции. Вопрос о том, какая из них более ранняя, представляется спорным. Печ. редакция, имеющая более законченный характер. В этой редакции

Ю. Г. Оксман усматривает «живые впечатления поэта от свержения Наполеона и распада французской империи», противопоставление «тирана» Наполеона «отцу граждан» Александру I, рвущему «цепи рабства». В другой редакции, вернее в черновом фрагменте «Где ж будет твой ничтожный прах» (см. с. 194), Раевский «последовательно уничтожает весь ее прежний конкретно-исторический колорит, отказывается от упоминаний о Наполеоне, снимает панегирическое обращение к Александру I и за счет этих сокращений развивает сатирическую характеристику «бездушного сибарита», тщеславного и лицемерного «друга царя», грубо злоупотребляющего доверенной ему властью. Этот образ присутствовал и в первой редакции оды, но самая функция его была еще не очень ясна и самому автору. Во второй же редакции «Гласа правды» образ «вельможи», глумящегося над народом, приобретает центральное значение, что трудно было бы объяснить, если бы Раевский не имел в виду определенных политических ассоциаций». Речь идет об отражении в образе «вельможи» жестокого и властного временщика Аракчеева. Но и во второй редакции «черты живого образа Аракчеева оказались заслоненными традиционными чертами тиранов и вельмож... Архаичность и примитивность всей внутренней и внешней структуры «Гласа правды» была понята и самим Раевским, забраковавшим вторую редакцию оды еще быстрее, чем первую» (см. ЛН, с. 520—521). По мнению исследователя, та редакция «Гласа правды», в которой имеются славословия Александру I, относится к 1814—1815 гг. и свидетельствует о том, что Раевский «полностью еще был во власти монархических иллюзий, процесс изживания которых начался не раньше 1817—1818 гг.» (там же, с. 528). Однако в комментарии Ю. Г. Оксмана имеются уязвимые места. Во-первых, точно неизвестно, когда именно Раевский расстался с монархическими иллюзиями. Кстати говоря, они не были чужды ему даже в 1822 г. (см. первую редакцию стих. «К друзьям в Кишинев», с. 200). Кроме того, нет оснований это стихотворение с его черновыми фрагментами датировать 1814—1816 гг., как и вообще все стихотворения, входящие в «особую тетрадь», рискованно относить к самым ранним, написанным до 1815 г. Во-вторых, редакция, содержащая упоминание о царе, отличается большей художественной зрелостью и конкретно-историческими ассоциациями, чем та, которую Ю. Г. Оксман считает более поздней. Внутренняя художественная логика несравненно яснее проступает именно в этом тексте. Раевский говорит о сокрушительном движении времени, равно уничтожающем как сильных, так и слабых. В конечном счете развитие этой мысли должно завершиться признанием, что лишь добрые деяния дают подлинную славу и бессмертие. Последовательно иллюстрируя эту мысль, Раевский говорит о разных типах людей, которые по своему высокому положению в обществе могли бы прославить себя благородными подвигами. Поэт обличает «бездушного сибарита», холодного эгоиста, заботящегося только о личных удовольствиях; вельможу, коварного «друга царя» (вроде Аракчеева), и, наконец, верховного владыку — тирана (вроде Наполеона). В процессе работы Раевский заменил тираноборческие строки этой редакции (стихи 46—47, см. с. 195) либеральной концовкой о разумном монархе, который дает народу свободу и справедливые законы: «Как вдруг свободу и законы Давал монарх — граждан отец»

(Ю. Г. Оксман предлагает читать: «Как вкруг свободу и законы. . .»). Видимо, поэт написал заключительные стихи из соображений цензурного порядка, предполагая опубликовать свое стихотворение. Спорным является и утверждение, будто в другой редакции «Гласа правды» Раевский развил и поставил в центре образ жестокого вельможи. Но в количественном отношении стихи, посвященные этому образу, составляют все ту же одну строфу; в предыдущей речь идет не о вельможе, а о сибарите. Относить обе эти строфы к одному и тому же «персонажу» нет оснований (см. варианты). Работа над «Гласом правды» скорее всего относится к 1818—1820 гг., когда Раевский приступил к созданию опытов гражданской поэзии (революционных од и сатир). В «Гласе правды» (в обеих редакциях, а также в набросках) имеются по-настоящему декабристские стихи, легко уживающиеся с отвлеченной символикой и абстрактно-моралистической тенденцией. *Сатурн* — см. примеч. 18.

37. «Новые материалы», т. 177. Печ. по сб. 1952, с. 63. Изображение страданий негров в гражданской поэзии той поры несло в себе скрытое осуждение крепостничества. Тема торговли неграми, похищенными в Африке и перевезенными в Америку, тогда была сама по себе волнующей, и к ней обращались многие прогрессивные писатели. Раевский здесь следовал традиции Радищева (в «Путешествии из Петербурга в Москву»), перешедшей к следующему поколению передовых русских литераторов («Негр» Попугаева). Тему пробуждения гнева в угнетенном народе находим и в стихотворении Гнедича «Перуанец к испанцу».

38. «Украинский вестник», 1819, № 8, с. 232. Возможно, что появлению стихов Раевского в «Украинском вестнике» способствовал его родной брат Андрей, имевший связь с харьковскими учеными и литераторами. Андрей Раевский (1794—1822) — участник заграничных походов 1812—1814 гг., состоял членом «Вольного общества словесности, наук и художеств», писал стихотворения и прозаические произведения. В «Украинском журнале», почти рядом со стихотворениями В. Ф. Раевского, печатались стихи его старшего брата (см. ЛН, с. 518—519). *Лукулл* Луций Лициний (106—56 до н. э.) — римский полководец, прославившийся пристрастием к пирам и роскоши, имя его стало нарицательным. *Зоил* — см. примеч. 5. *Сатрап* — см. примеч. 7.

39. «Украинский вестник», 1819, ч. 16, № 10, с. 234.

*** 40.** «Ульяновский сборник», с. 279 (др. ред.). Печ. по сб. 1952, с. 128. Вероятно, написано во время посещения Раевским родного имения в Курской губернии (1819). Сохранились автографы нескольких черновых фрагментов. Возможно, к этому тексту имеют отношение след. строки, обнаруженные в рукописях Раевского:

Прости ж, ручей родной, прохладные дубравы, —
Быть может, навсегда я покидаю вас.
Я не раб — свободен от желаний славы,
Мне дорог радости и мира каждый час.
В роскошных ли садах смеющейся Тавриды,
В стране ли хладной остяков

Или в развалинах Эллады —
Найду гостеприимный кров!
Там, там отечество мне будет!
Пусть хладный свет меня забудет,
Я там своих поставлю лар.
И под щитом святой природы,
На алтаре любви и нравственной свободы,
Забвенью принесу прошедшее всё в дар.

* **41.** «Ульяновский сборник», с. 259 (монтаж двух редакций); «Новые материалы», с. 158; сб. 1952, с. 194 (др. ред.). Печ. по «Новым материалам», с уточнениями. Обе редакции — с многочисленными исправлениями. Первоначальный вариант «Элегии I» без первых 18 строк, начиная со стиха «Как в равнозвучии ручей быстротекущий» («Как в разноязычии ручей быстротекущий»), с незначительными изменениями рукою Раевского переписан на отдельном листе. Возможно, что эти стихи он собирался включить в окончательный текст. По всей вероятности, поводом для написания «Элегии» послужила смерть в 1819 г. Александра Федосеевича Раевского, второго старшего брата поэта (см. письмо к П. Г. Приклонскому от 16 апреля 1819 г. в «Ульяновском сборнике», с. 298). «Элегия I» обратила на себя внимание членов Военно-судной комиссии. Особенно подозрительными показались им стихи «Почто разврат, корысть, тиранство ставит трон» и т. д. Раевского спрашивали: «Где вы видели, чтобы преступник был покрыт рукою правительства?» («Новые материалы», с. 160). На этот вопрос Раевский достаточно ясно ответил, комментируя рассуждение о рабстве. Он привел целый список примеров, свидетельствующих о беззаконии помещиков и «корысти тиранства». Стихи также имеют в виду некоторые из этих преступлений, в частности убийство помещиком Ширковым девицы Алтуховой. В своем ответе в связи с «Элегией I» Раевский намекал именно на эти примеры: «Я мог бы привести... множество тому примеров, но так как эти стихи только написанные в минуту мечтаний и ненапечатанные, то они просто относились не к лицам, а к воображению и расположению духа моего, — впрочем, таковое сочинение и цензурными правилами не было воспрещено; у Державина в разных местах «Вельможи», «Властителям и судиям», «Счастию» и у многих знаменитых писателей находятся места гораздо сильнее, но как скоро ни лица не названы, ни время, то и цензура не удержала бы таковых выражений; у Державина не помню какая ода начинается:

Доколь владычество и славу
Коварство будет присвоять?
Весы, кадило, меч, державу
В руках злодейских обращать?

Здесь «доколь будет» относилось как бы к настоящему. Но стихи сии, как и тысячи сильнейших, видел я в печати, не только писанные для самого себя» («Новые материалы», с. 160). Приведя в пример оду Державина «На коварство» и др. образцы его поэзии, Раевский хотел доказать лояльный характер своего стихотворения, т. е. отвести от себя очередное обвинение в преступном образе мыслей.

42. «Ульяновский сборник», с. 261. Печ. по «Новым материалам», с. 162. Так же, как и предыдущая элегия, обратила на себя внимание Военно-судной комиссии, усмотревшей в ней опасные политические мысли. Комиссия потребовала объяснить подробнее: «Какой переворот и какую бурю вы здесь подразумевали? Ибо, судя физически, натуральный день не может родить вечной радости и вечного устройства. И какого грозного дня вы желали, чтобы врата свободы отверзлись и добродетели луч возблистал?». Назвав свою вторую элегию «Элегией к осени», Раевский утверждал, что «не только никакого переворота, но вовсе никаких подобных тому идей не имел: я выражал то, что в то время ощущал: это было осенью; следственно, писавши в такое мрачное время, имел и мысли мрачные» («Новые материалы», с. 162). Оправдание Раевского не удовлетворило следователей; они понимали, что ссылка на осень и «мрачное время» — очередная отговорка. *Прометеев огнь* — см. примеч. 26.

43. В. И. Семевский, Политические и общественные идеи декабристов, СПб., 1909, с. 109, не полностью (10 строк); «Новые материалы», с. 155, и «Ульяновский сборник», с. 288. Печ. по сб. 1952, с. 73. В бумагах Раевского, отобранных при аресте, сохранилось восьмистишие, которое Ю. Г. Оксман предлагает считать заключительными строками сатиры (см. ЛН, с. 526):

Друзья, вот наш удел в сей бездне треволнений.
Рабы сует, мечты, обычаев, страстей,
Мы действуем всегда по силе впечатлений,
Творенья слабые, в ничтожности своей
За призраком бежим излучистой стезею,
И часто скучный Гераклит,
Обласканный судьбою,
Смеется и смешит, как странный Демокрит.

П. С. Бейсов высказывает другую точку зрения, на наш взгляд более правильную: «Мнение ... об обязательности включения настоящего восьмистишия в основной текст сатиры «Смеюсь и плачу» далеко не бесспорно. Это восьмистишие, в отличие от перебеленных пяти строф, осталось в черновом виде. И дело не в том, что Раевский не успел перебелить его, а в том, что оно не предназначалось для белового текста, т. к. нарушало социальную патетику сатиры «Смеюсь и плачу», уводило от русского материала». В автографе первонач. загл. — «Гимн природе»; вариант подзаголовка — «Подражание французскому». Ссылка на сатиру Вольтера «Jean, qui pleure et qui rit» («Жан, который плачет и который смеется», 1772) не свидетельствует о «подражании». Русский поэт воспользовался идеей и общей схемой произведения Вольтера. Отвечая на вопросы Военно-судной комиссии в крепости Замостье, Раевский утверждал 14 февраля 1827 г., что сатира «Смеюсь и плачу», как и другие стихотворения, захваченные при аресте, написана была «до 1819 года», что позже он якобы «стихотворениями не занимался». Это было сказано, конечно, в целях самозащиты. Раевский писал стихи в 1820—1822 гг. и в заключении. Сатира «Смеюсь и плачу» в рукописи не датирована. Но идейная и тематическая связь этого стихотворения с трактатом

«О рабстве крестьян» настолько очевидна, что можно с уверенностью и то и другое произведение, рассчитанные на распространение в списках, относить к 1819—1821 гг. В заметке «О рабстве крестьян» (см. с. 212) содержатся строки, прямым образом перекликающиеся с сатирой, в частности с первой строфой (см. начало раздела «Рассуждение» в приложении к настоящему изд.). Военно-судная комиссия обнаружила в сатире «те же мысли», что и в его сочинении «О рабстве крестьян», автором которого Раевский себя не признавал. «Разница та, что в одном месте вы изложили оное прозою, а здесь стихами: для чего же вы одно и то же называете своим и не своим?» — спрашивали обвиняемого, и он вынужден был признать, что «мог означенную мысль почерпнуть из сочинения о рабстве» («Новые материалы», с. 154). Восточные мотивы в стихах Раевского, в поэзии и прозе декабристов служили легальным средством разоблачения русского самодержавия, которое часто изображалось в образах восточного, турецкого деспотизма. *Визирь* — титул высших государственных чиновников в мусульманских странах Востока. *Спагис* (спаги) — солдат турецкой конницы. *Дают — луну, бунчук.* Речь идет о знаках власти, даваемых наместнику султана. *Армидины сады* — волшебные сады Армиды, куда она завлекла крестоносца Ринальдо в «Освобожденном Иерусалиме» Т. Тассо. *Погибли жертвою предрассуждений века.* Имеются в виду гонения властей и бедствия, постигшие великих людей. Древнегреческий философ *Сократ* (ок. 469—399 до н. э.) был обвинен в том, что своим философским учением будто бы развращает юношество; по преданию, Сократ умер, выпив кубок яда. Римский поэт Публий *Овидий* Назон (43 до н. э. — 17 н. э.) был сослан императором Августом; одной из причин гонения была поэма «Наука любви», которую объявили нравственно вредной. Луций Анней *Сенека* — римский философ и политический деятель (6-3 до н. э. — 65 н. э.), подвергался гонениям за свои знаменитые речи; приговоренный императором Нероном к смерти, был вынужден кончить жизнь самоубийством. Римский поэт и философ *Лукреций* (ок. 99-95—55 до н. э.) кончил жизнь самоубийством. Итальянский поэт Торквато *Тассо* (1544—1595) претерпел жестокую и несправедливую клевету придворной знати; по приговору герцога Феррарского Тассо был в заключении семь лет. Христофор *Колумб* (1451—1506) после своего знаменитого путешествия был закован по распоряжению властей и в цепях доставлен в Испанию. Последнее его путешествие, имевшее своим результатом новые открытия, сопровождалось страшными лишениями и вызвало полное равнодушие испанских властей; Колумб умер среди непрестанных хлопот и огорчений. Португальский поэт Луи *Камоэнс* (1524—1580) вынужден был писать в тяжелых условиях военной службы и тюремных заключений, умер в нищете. Галилео *Галилей* (1564—1642) подвергался гонениям церковной инквизиции и тюремному заключению за свое новое учение о движении земли. *Александр, Херил* — см. примеч. 10. *Как конь Калигулы.* По преданию, римский император Гай Цезарь Калигула (12—41), отличавшийся крайней жестокостью и самодурством, однажды приказал привести в сенат своего коня и объявить его консулом. *Как в Мексике.* Имеются в виду жестокие меры по истреблению коренного (туземного) населения Мексики испанскими конквистадорами. Все эти стихи посвящены произволу власть имущих и, несомненно, имеют в

виду судьбы русских замечательных людей и самодурство русских властителей. *Астрея* (греч. миф.) — богиня справедливости, покинувшая землю в «железном» веке. *Хвостова сочиненья, Я вижу, Глазунов за деньги продает.* Имеются в виду слухи о том, что поэт-графоман граф Д. И. Хвостов (1757—1835) скупал в книжных лавках собственные сочинения, поскольку они не находили покупателей; М. П. Глазунов (1757—1830) — книгоиздатель и книготорговец. *Скотинин* — персонаж комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль», невежественный, тупой самодур.

44. «Ульяновский сборник», с. 283. Печ. по сб. 1952, с. 82, с уточнениями. Стихотворение сохранилось в черновых набросках. Судя по автографу, Раевский работал над дружеским посланием, но не завершил его, оставив недоработанным. Возможно, к нему относится и следующий отрывок:

Мой друг! Могу ли я опровергать сужденье,
Которое ты мне так ясно доказал?
И если б я не знал...
Что значит силлогизм, дово́д иль уравненье,
Всё то же бы сказал...
И то ж б сделал заключенье —
И можно ли, тем более в наш век, —
........средь русских сограждан,
Когда сей страшный бич, властитель и тиран...

Стихотворение предъявлялось Раевскому при допросах в Военно-судной комиссии в качестве обличающего материала. По поводу стихов «Но, друг мой! Переждем — эпоха началась, и наше сбудется желанье... Гражданства искра в нас зажглась» Комиссия военного суда спрашивала: «К кому вы писали слова, заключенные в сем пункте? О каком вы желании говорите и что вы разумеете под сими словами: „Гражданства искра в нас зажглась"». От Раевского последовал ответ: «Так из всего сочинения или стихов сих видно, что я говорил о влиянии на нравы русские обычаев иноземных, о протекшей войне и пр. Следовательно, желание сие означает, как видно из прочих стихов, что и сие зло изменится, — а *искрою* Гражданства разумел я чистую любовь ко всему своему, или отечественному. Стихи сии не относились ни к кому, просто по праву стихотворства адресованные посланием» («Новые материалы», с. 157—158). Раевский пытался скрыть подлинный смысл этих строк, хотя стихи о «гражданской искре» русских сограждан и самый последний стих «Когда сей страшный бич, властитель и тиран», кстати сказать не прочитанный членами Следственной комиссии, — несомненно, являются выпадом против самовластья. *Властитель и тиран* — Наполеон I. *Секване начертал постыдный приговор.* Речь идет о военном поражении Франции, о взятии русскими войсками Парижа; Секвана — старинное название реки Сены, на берегах которой расположен Париж. *Боскеты* — густые группы деревьев. *Ир с клюкой* — нищий в «Одиссее» Гомера. *Умный наш певец* — И. А. Крылов.

45. «Ульяновский сборник», с. 284 (вместе с № 46). Печ. по сб. 1952, с. 76. Черновой фрагмент из не дошедшей до нас сатиры. В бумагах Раевского, отобранных при аресте в 1822 г., сохранились отдельные отрывки без начала и конца. Возможно, что к этой сатире относится др. отрывок (см. № 46), сохранившийся на отдельном листе. В изд. 1961, с. 86, оба эти отрывка напечатаны в составе «Сатиры на нравы» (№ 44), для чего нет оснований. *Гавриил* — один из семи архангелов в Библии, блюститель нравственности. *И новых мессалин* — светских распутниц; Мессалина (I в.) — жена римского императора Клавдия, прославившаяся необузданным развратом, жестокостью и властолюбием. *Нимфомания* — самообожание женщины. *Кант* — см. примеч. 12. *Шеллинг* Фридрих Вильгельм (1775—1854) — немецкий философ-идеалист. *Книги Моисея* — первые четыре книги Библии. *Гений Лейбница в листах «Феодицеи»*. Имеется в виду произведение немецкого ученого Готфрида Вильгельма Лейбница (1646—1716) «Феодицея» с ее основной идеей оправдания происхождения зла. *Элида* — местность на северо-западе Греции; в архаические времена здесь находился культурный центр Элида, где совершались олимпийские празднества. С конца V в. до н. э. значение Элиды падает. *Атлантида* — легендарный загадочный материк в Атлантическом океане, который, согласно мифу, рассказанному Платоном, представлял собою цветущую, густонаселенную страну, будто бы исчезнувшую во время землетрясения. Вопрос о существовании Атлантиды до сих пор вызывает споры; высказывалось предположение, что остатками Атлантиды являются Канарские острова. *Химера* (греч. миф.) — чудовище с головой льва, туловищем козы и хвостом дракона; олицетворение жестокости и коварства.

* **46.** «Ульяновский сборник», с. 285 (вместе с № 45); здесь же (с. 275) другая публикация, где первые семь стихов объединены с зачеркнутыми строками (см. их на с. 197). См. также предыдущее примеч. Печ. по сб. 1952, с. 240. *Озирис* — в мифологии древних египтян верховный бог, воплощающий в себе доброе начало; в столице древнеегипетского царства *Мемфисе* находился храм Озириса, здесь же было и местопребывание священного *быка* Аписа, посвященного этому богу.

* **47.** «Украинский журнал», 1825, № 4, с. 233. Написано до 1822 г., так как автограф находится среди бумаг, отобранных у Раевского при аресте.

48. «Новые материалы», с. 137. Печ. по изд. 1961, с. 89, где приведены строки, вычеркнутые из текста Раевским. Однако ввиду того, что изъятие этих строк делает стихотворение совершенно незаконченным, приводим более раннюю редакцию. *Крон* — см. примеч. 17.

49. «Украинский журнал», 1824, № 19-20, с. 46. Возможно, что это стихотворение относится к периоду пребывания Раевского в Тираспольской крепости и в «Украинский журнал» попало нелегальным путем.

* **50.** «Полное собрание сочинений К. Ф. Рылеева», Лейпциг, 1861, с. 288 и «Русская потаенная литература XIX столетия», Лондон, 1861, с. 259, где ошибочно приписано Рылееву; сб. «Лютня. II. Потаенная литература XIX столетия», Лейпциг <1874>, где ошибочно приписано А. И. Полежаеву. Впервые под именем Раевского, но с явными искажениями цензурного характера — «Русская старина», 1890, № 5, с. 365, с пометой: «Крепость Тираспольская, 1822, 28 марта» (по неизвестному позднейшему автографу 1846 г.). Более достоверные источники текста: «Голос минувшего», 1917, № 8, с. 85 (публикация М. А. Цявловского по списку ГПБ из альбома Лансберга); «Литературный критик», 1939, № 2, с. 213 (публикация Л. Сперанской по автографу ГБЛ, архив А. Ф. Вельтмана, ранняя редакция); альм. «Волжская новь», кн. 10, Куйбышев, 1940, с. 285 (публикация П. С. Бейсова по автографу ЦГАОР из дела III Отделения 1827 г. «О доносе мичмана Демутье на штабс-капитана Мозевского, рассеивавшего между офицерами и частными людьми возмутительные сочинения майора Раевского»); альм. «Литературный Ульяновск», № 1, 1947 (публикация П. С. Бейсова по списку из Ульяновского краеведческого музея). В обнародованных М. К. Азадовским «Воспоминаниях» В. Ф. Раевского (по автографу из собр. В. А. Крылова) мемуаристом приведен отрывок из послания «К друзьям в Кишинев», дающий любопытные позднейшие варианты ряда строк. Незаконченные «Воспоминания» писались с 1841 по 1865 г. В наст. издании печ. по «Голосу минувшего», где текст приведен по списку, явно восходящему к автографу. Являясь последней, наиболее полной редакцией периода ареста и тюремного заключения, список содержит крайне важные строки, неизвестные по др. источникам. Самой ранней редакцией является автограф из архива Вельтмана (к нему близок список из собр. Д. В. Поленова в ГПБ). Автограф из бумаг Мозевского имеет пропуски текста, которые были сделаны явно в целях конспирации. В ссылке Раевский снова возвращался к тексту своего послания, исправлял его. Об этом свидетельствует отрывок стихотворения из «Воспоминаний». Однако ввиду того, что позднейшая редакция до нас в полном виде не дошла, берем за основу текст «Голоса минувшего». В послании под «друзьями» подразумеваются М. Ф. Орлов, А. С. Пушкин, И. П. Липранди, К. А. Охотников. Стихи 124—125 обращены непосредственно к Пушкину. В отличие от общепринятой публикации стиха 46 («Пора, друзья! Пора воззвать»), Раевский в «Воспоминаниях» дважды сохраняет обращение к одному лицу («Мой друг»), т. е. к Пушкину. Это существенное доказательство того, что послание «К друзьям в Кишинев» адресовано прежде всего Пушкину, что именно он являлся первым и самым надежным другом Раевского. В тюремной редакции строка «Пора, друзья! Пора воззвать» могла иметь особое значение. Тогда Раевский имел в виду и Пушкина и друзей по тайному обществу, которые не должны дремать в покое, он еще верил в возможность революционного восстания. В публикации «Русской старины» содержится строфа (см. с. 201), точно излагающая превратности тайного следствия над Раевским. Против обвиняемого были пущены в ход лжесвидетели, шантаж и насилие. О суде над Раевским см. в кн.: «Новые материалы» (гл. «К истории след-

ствия и суда»). Стихи о «наемной лжи» и «тайном трибунале» с разночтениями сохраняются и в тексте, опубликованном П. С. Бейсовым. Бесспорно, что эта строфа из Тираспольской крепости, она восходит к одной из самых первых авторских редакций послания «К друзьям в Кишинев». *Геба* — см. примеч. 26. *Ганимед* — см. примеч. 33. *Тирас* — река Днестр, на ней находилась Тираспольская крепость, в которой был заключен Раевский. *Феб* (греч. миф.) — одно из имен Аполлона, бога солнечного света и искусств. *Суд Эреба* (греч. миф.) — суд над душами мертвых в самых мрачных подземельях Тартара, где пребывал верховный судия подземного царства мертвых. *Берег страшный Флегетона* (греч. миф.) — подземное царство, ад, который находится на берегах огненной реки Флегетон. *Альбион* — старинное название Англии. *Юный Амфион* — обращение к А. С. Пушкину; Амфион (греч. миф.) — поэт и музыкант, который звуками своей лиры заставлял двигаться камни. Стих *«Скажите от меня О<рлов>у»,* и след. становятся понятными, если учесть, что начальник штаба 2-й армии П. Д. Киселев приезжал в Тираспольскую крепость, предлагал возвратить свободу и пр., но при том условии, что Раевский раскроет существование тайного общества и расскажет о деятельности Орлова. Ответы Раевского были коротки, но ясны: «Я не знаю, виноват ли генерал Орлов или нет, но, кажется, до сих пор вы казались быть его другом. Я ничего прибавить к этому не имею, кроме того, что, ежели бы действительно был виноват Орлов, и тогда бы я не перестал уважать его». Что касается существования тайного общества, то Раевский отвечал Киселеву: «Но если бы я знал, то самое предложение вашего превосходительства так оскорбительно, что я не решился бы открыть. Вы предлагаете мне шпагу за предательство» (П. Е. Щеголев, Декабристы, М.—Л., 1926, с. 31). *Горит денница на востоке* — намек на греческое восстание 1821 г. против турецкого ига и последующие волнения в стране. *Волкальный звон* — вероятно, вулканический (от слова «волкан»); согласно греч. миф., в недрах огнедышащего вулкана находилась мастерская бога огня и кузнечного ремесла Гефеста (Вулкана), ковавшего там оружие; в данном случае имеется в виду нарастание мощного общественного катаклизма, приближение грозной битвы и подготовка к ней.

51. «Русская старина», 1887, № 10, с. 133, с цензурным пропуском последних восьми строк. Печ. по «Литературной газете», 1935, № 53 и 54 (публикация В. И. Нейштадта по копии из альбома 1820—1840-х годов, хранящегося в ГБЛ). Список — в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР, текст его полностью совпадает с копией, приведенной в «Литературной газете». В стихотворении «Певец в темнице» Раевский в форме вопросов развернул перед Пушкиным целую программу, в которой он повторил основные политические лозунги Союза Благоденствия. Об отношении Пушкина к стихотворению Раевского см. вступ. статью, с. 45. Свод данных о творческих связях Пушкина с Раевским см.: М. А. Цявловский, Стихотворения Пушкина, обращенные к В. Ф. Раевскому. — «Временник Пушкинской комиссии», вып. 6, М. — Л., 1941, с. 46—47. *Книга Клии* — книга истории; Клио (греч. миф.) — муза истории. *Борецкая* — новгородская посадница, руководившая в 1471 г. борь-

бой новгородцев с московским царем Иваном III. *Вадим* — легендарный герой древнего Новгорода, возглавивший будто бы в IX в. восстание против Рюрика.

* **52.** «Русская старина», 1890, № 5, с. 371, с пометой: «В крепости Тираспольской, 1824»; изд. 1961, с. 98, где опубликовано по копии Ульяновского краеведческого музея. Печ. по «Русской старине». *Пелисон.* Имеется в виду распространенный рассказ о французском писателе Поле Пелиссоне Фонтанье (1624—1693), приручившем в одиночном тюремном заключении паука. *Абеон* — см. примеч. 14. *Пифагор* (ок. 580—500 до н. э.) — древнегреческий математик и философ-идеалист, проповедовавший идею переселения душ умерших людей в животных.

СТИХОТВОРЕНИЯ ПЕРИОДА ССЫЛКИ

1828—1846

53. «Русская старина», 1903, № 9, с. 578, с пометой: «с. Олонки, мая 30, 1828 г.». Печ. по «Ульяновскому сборнику», с. 289, где опубликовано по более полному и авторизованному списку ЦГАОР (из «Дела по доносу отставного поручика Василия Раевского о злоумышленном обществе и заговоре на цареубийство», 1830 г.). Стихи 14—21 от конца взяты Раевским из раннего стихотворения «Глас правды» (№ 36). Весьма вероятно, что послание адресовано Н. И. Комарову, о котором Раевский в «Собственноручной автобиографической записке» 1858 г. пишет: «Капитан Комаров (товарищ мой по воспитанию) предложил мне вступить в об-во Зеленой книги, или Союз Благоденствия... я согласился быть членом общества» («Ульяновский сборник», с. 221). Комаров был активным членом Союза Благоденствия, но с закрытием его больше в тайное общество не вступал. В послании есть намек на некоторую осведомленность Раевского о судьбе Комарова как декабриста («Ты сам темничною заразою дышал» и т. д.). Комаров был арестован в феврале 1826 г. В своих показаниях он оказался очень податливым, и среди многих названных им членов Союза Благоденствия упомянул и Раевского. Однако Раевский вряд ли об этом знал, так как не виделся с Комаровым, очевидно, с 1820 г. *Где Минихов и Меньшикова гений.* Имеется в виду ссылка в Сибирь русского государственного и военного деятеля Бурхарда Миниха (1683—1767). Он был сослан в Пелым Тобольской губернии, где пробыл двадцать лет. Любимец и соратник Петра Великого Александр Данилович Меншиков (1673—1729) был в 1727 г. арестован по повелению Петра II и вскоре сослан в Березов Тобольской губернии, где и умер. *Клии крепкие скрижали* — история; Клио — см. примеч. 51. *Крон* (греч. миф.) — см. примеч. 17.

54. «Русская старина», 1890, № 5, с. 369, с пометой: «1 августа 1829 г., село Олонки». Автограф — ЦГАОР (в том же деле, что и рукопись стих. № 53). Написано и связано с переменой жизни ссыльного поэта, его женитьбой на сибирской крестьянке и устройством на постоянную жизнь в с. Олонки, близ Иркутска. На Е. М. Середкиной (1811—1875) Раевский женился в конце 1829 г. «Он был женат на простой олонской крестьянке Евдокии Моисеевне, женщине

со здравым умом и сибирским тактом, благодаря которому она, появляясь в обществе, не заставляла за себя краснеть своих дочерей Александру и Веру, вполне благовоспитанных и получивших порядочное образование от отца» (Б. В. Струве, Воспоминания о Сибири, СПб., 1899, с. 26—27).

55. «Сибирские огни», 1938, № 3-4, с. 129. Автограф — ЦГАОР (в том же деле 1830 г., что и рукопись стих. № 53).

56. «Ульяновский сборник», с. 294. Автограф — ЦГАОР (в том же деле, что и рукопись стих. № 53). Обращено к Е. М. Середкиной (см. о ней примеч. 54). Стих. не было закончено в связи со смертью сына Константина, тяжело пережитой Раевским. *Прощаюсь я с тобой, листок родной.* Речь идет о дневнике, который вел Раевский в Сибири. 16 сентября 1830 г., на 8-й день после смерти сына, Раевский записал в дневнике: «Что привязывает меня к этому черному, мрачному миру? Зачем еще жив я? Какая будущность ожидает меня?.. Постепенно вырастали бедствия мои: шестилетняя темница, лишение чести, имения, разлука с Родиной, родными и друзьями, унизительное состояние, в какое брошен я, бедность и угрожающая нищета, упреки совести... горестное воспоминание о безумно потраченной молодости, — все соединилось, кажется, дабы разразить слабое бытие мое... Но еще не настало время! В женитьбе я загладил, успокоил упреки совести, и провидение улыбалось мне. Оно даровало мне прекрасного, как ангел, сына. Никогда до него не знал я настоящих радостей... В первый раз в жизни узнал истинное блаженство. Ночи, проведенные без сна, первые дни в беспрерывных трудах и заботах о нем, как они были сладки, приятны!.. Состояние мое улучшалось, жена моя становилась день ото дня ближе ко мне и сыну... Я начинал забывать о прежних связях крови, я любил думать только о них, словом, я дышал ими!.. Безумец, к чему ты доверял счастью?..» (изд. 1961, с. 259).

57. «Русская старина», 1890, № 5, с. 372, с пометой: «Туранские минеральные воды. 1840 г., 15 августа». *Икаугун* — один из шести источников Туранских минеральных вод (на юге Иркутской губ.).

* **58.** «Русская старина», 1890, № 5, с. 374, с пометой: «1842 г., ноябрь, с. Олонки». Ранняя редакция, затем почти полностью вошедшая в стих. № 59, опубликована П. С. Бейсовым в «Сибирских огнях», 1938, № 3-4, с. 129. Выражение *мои темницы* намекает и на собственные злоключения Раевского, и соответствует названию книги участника итальянского освободительного движения С. Пеллико «Мои тюрьмы» (1832), которая была написана после десятилетнего заключения автора в тюрьме.

* **59.** «Русская старина», 1890, № 5, с. 375, с датой: 1846 г. Дата эта кажется сомнительной, так как она противоречит признанию самого поэта («Шесть лет темничною заразою дышал И двадцать лет в болезнях и в изгнаньи...»). Судя по этим данным, стихотворение написано в 1848 г. Оно имеет автобиографический характер и обращено к дочери Александре Владимировне Раевской. Послание,

однако, следует понимать и как призыв к молодому поколению («Иди ж вперед, иди к призванью смело»). В письме к Г. С. Батенькову летом 1848 г. из с. Олонки (см. ЛН, с. 154) Раевский цитирует из послания к дочери отрывок (стихи 96—105), в котором имеются разночтения. «Это — смысл моей жизни», — замечает Раевский, приведя эти стихи в своем письме.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Вечер в Кишиневе. «Литературное наследство», № 16-18, М., 1934, с. 660. Публикуемый незаконченный отрывок воспроизводит один из литературных споров в Кишиневе в 1821—1822 г. О характере этих споров дают представление воспоминания И. П. Липранди, непременного участника кишиневских литературных вечеров. Отрывок из этих мемуаров приведен во вступ. статье на с. 15. В «Вечере в Кишиневе» речь идет о споре по поводу лицейского стих. Пушкина «Наполеон на Эльбе», которое в 1822 г. было перепечатано во 2-м издании 5-й части «Собрания образцовых сочинений и переводов в стихах» (СПб.). Видимо, Раевский перед самым арестом успел познакомиться с этим изданием и под непосредственным впечатлением от «Наполеона на Эльбе» начал писать «Вечер в Кишиневе». 6 февраля 1822 г. Раевский был арестован. «Вечер в Кишиневе» остался незаконченным и сохранился в виде чернового отрывка. Упоминаемые имена («майор Р», «генерал О») легко расшифровываются: майор — В. Ф. Раевский, а генерал-майор — М. Ф. Орлов. «Молодой Е» — вероятно, прапорщик В. П. Горчаков, непременный участник кишиневских литературных споров. *Загадка об Атлантиде* — см. примеч. 45. *Макробеи* (долголетние) — фантастический народ древности, наслаждающийся вечной юностью; согласно греч. мифу, страна макробеев находилась где-то на западных берегах Африки. *Орфеева «Аргонавтика»*. Речь идет о так называемой орфической поэме, произведении древнегреческой литературы, в которой описывается счастливая страна аргонавтов, т. е. мореплавателей. *Гезиод* (VIII—VII вв. до н. э.) — древнегреческий поэт, автор поэмы «Труды и дни», где говорится о счастливых островах на краю земли. *Рассуждения Платона и Феопомпа*. Имеются в виду сочинения древнегреческого философа Платона (427—347 до н. э.) «Крития» и «Тимея», в которых излагается миф о громадном острове счастья в Атлантическом океане, и описание счастливой земли меропов древнегреческого историка Феопомпа (IV в. до н. э.). *Калиф Омар* (ок. 580—644) — арабский завоеватель, в 642 г. взявший штурмом Александрию и, согласно преданию, будто бы уничтоживший знаменитую Александрийскую библиотеку — хранилище 400 000 свитков. *Система мира пифагорейцев* — идеалистическое учение о сущности мира, сводящееся к числовым отношениям, разработанное последователями древнегреческого философа и математика Пифагора (см. о нем примеч. 52). *Никония, Офеус* или *Тира, Германиктис* — древнегреческие колонии на северном берегу Черного моря, в Приднепровье, Приднестровье и на Таманском полуострове. *Дарий Истасп* (Гистасп) — персидский царь (522—485 до н. э.); в 513 г. совершил неудачный поход на причерноморских скифов. *Река*

Даль-Ельва величайшая в Швеции — это все равно, что река ривьера Сена протекает в Париже. Нелепость заключается в повторении слова река, Ельва (elf) — река по-шведски; ривьера (rivière) — по-французски. *Ирокезец* — североамериканский индеец. *Лапландия* — северная Финляндия.

О рабстве крестьян. В. И. Семевский, «Общественные и политические идеи декабристов», СПб., 1909, с. 109, в отрывках; полностью — «Новые материалы», с. 106, и «Ульяновский сборник», с. 248. Черновые фрагменты этого важнейшего политического документа были захвачены при обыске и вместе с другими бумагами приобщены к следственному делу. Черновой вид рукописи свидетельствует, что рассуждение не было закончено, над ним продолжалась работа и, вероятно, арест Раевского помешал дополнить это воззвание конкретными примерами и фактами, которые уже были собраны. В материалах Военно-судной комиссии фигурирует под разными названиями: «Опровержение рассуждений Ростопчина о необходимости рабства господских крестьян», «Рассуждение о рабстве крестьян и необходимости преобразования законов в России», «Рассуждение о рабстве крестьян и необходимости скорого преобразования в России». Приблизительно датируется 1821 г. В целях самозащиты Раевский не признавал себя автором заметки «О рабстве крестьян», он утверждал, что переписал отрывок из сочинений анонимного автора. Черновик представляет собой ряд разрозненных листков, подшитых в разных местах двух тетрадей, он обрывается на неоконченной фразе: «Так, в царствование Александра. . .». За этим оборванным листком следует лист совершенно иной бумаги, где Раевским записаны строки отрывка: «Нет, не одно честолюбие. . .», может быть являющегося частью не дошедшего до нас белового текста рассуждения (см. вступ. статью, с. 42). Рассуждение является превосходным комментарием к поэтическому творчеству Раевского, особенно к таким его стихотворениям, как «Послание Петру Григорьевичу Приклонскому», «Глас правды», «Элегия I», «Элегия II», «Смеюсь и плачу». *Тетрадь о необходимости рабства в России.* Отвечая на вопросы Военно-судной комиссии, Раевский пояснял, что, по всей вероятности, «здесь идет речь о том Ростопчине, который управлял московским ополчением», т. е. он имел в виду статью Ф. В. Ростопчина, написанную в защиту крепостничества; в то время она не была напечатана и распространялась в списках. *Век Астреи* — см. примеч. 43. *Гельвеций* Клод-Адриан (1715—1771) — французский философ-материалист, один из видных представителей просветительской идеологии. *Александр в речи своей полякам. . .* Имеется в виду речь Александра I, произнесенная 15 марта 1818 г. при открытии сейма Царства Польского. *Миллионы скрывают свое отчаяние до первой искры.* Военно-судная комиссия просила уточнить: «До какой первой искры миллионы скрывают свое отчаяние?» Раевский решил не расшифровывать, что такое «искра», и просто заметил, что он «не знает, что разумел здесь сочинитель». «Не может быть, чтобы для себя извлекли, — говорили Раевскому, — то, чего не понимали, а поэтому дайте ответ ясный». Прояснить и без того ясный намек на революционную искру Раевский мог только путем ссылки на «гипотезу историческую». «Вот, — говорил он, — как понимаю мысль сию: автор, может быть, видел и знал много примеров жестокого положения крестьян; может

быть, он читал жизнь яикского казака Пугачева... Но я нахожу мысль сию недостаточною или несправедливою, ибо многие не скрывают отчаяния своего. Я сам был свидетелем лет 10 тому назад в Полтавской губернии близ селения Решетиловки ужаснейшего бунта 700 душ крестьян помещика Кирьякова, против коих было выслано войско и артиллерия; в проезд мой из С.-Петербурга сюда я слышал на одной станции, что целое селение Минской губернии вышло на большую дорогу и жаловалось его имп. высочеству цесаревичу. Смерть фельдмаршала Каменского и другие многие примеры могут служить доводом слов моих» («Новые материалы», с. 122—123). *Тут не слабые меры нужны* и т. д. Раевский восстает против либеральных полумер в отношении крепостных, которые были приняты Александром в начале царствования согласно мнению таких либералов, как Мордвинов и другие. Законы о праве государственного выкупа крестьян и тому подобные мероприятия не изменили положения крепостных и лишь создали ложное представление о «заботах» правительства. Одним из аргументов либерального дворянства, на деле охранявшего свои права, была культурная неподготовленность русского крестьянства к свободе. *Ареопаг* — верховный судебный орган в Древней Греции. *Я могу более тысячи примеров предложить, где злодеяния помещиков превышали всякое вероятие.* «Если Комиссии угодно, чтобы я, — говорил Раевский в следственных показаниях, — назвал, вместо сочинителя, несколько примеров, вот они: 1. Курской губернии помещик Дмитрий Васильевич Дятливо содержит сераль. 2. Помещик Синельников также. 3. Помещик Щигловский также. 4. Капитан Охотников рассказывал мне о нескольких таковых помещиках Московской губернии Дмитриевского уезда, имена забыл. 5. О помещике Ширкове уже выше сего сказал. Впрочем, на свободе я бы в один год сотни примеров с доказательствами представить мог» («Ученые записки», с. 527). В неволе, на пятом году заключения, оторванный от живого мира, Раевский не забыл тех примеров и доказательств, которыми он в 1821—1822 гг. собирался дополнить свое рассуждение «О рабстве крестьян». «Где вы нашли такой закон, что русские помещики имеют право торговать, менять, проигрывать, дарить и тиранить своих крестьян?» — спрашивали подсудимого в крепости Замостье. Из сотни примеров Раевский привел несколько, не пощадив и своего отца. «А что помещики торгуют людьми, то в подтверждение слов сочинителя я могу представить много примеров, но ограничусь несколькими:

1) Покойный отец мой купил 3-х человек порознь от разных лиц и в разные времена: кучера, башмачника и лакея.

2) Помещик Гринев, сосед мой в 7-ми верстах, порознь продавал людей на выбор из 2-х деревень.

3) В Тирасполе я много знаю таковых перекупов на примере: доктор Лемониус купил себе девку Елену и девку Марию — сию последнюю хотел продать палачу, не знаю, продал ли? Капитан Виргасов (холостой) купил себе девку у майора Терещенки. Лекарь Богопольский купил себе двух девок, Варвару и Степаниду... и пр. и пр. А в пример тиранства я могу представить одного из соседей моих по имению, помещика Тюфер-Махера, у которого крестьяне работали в железах» («Ученые записки», с. 524). Наконец, Раевский описал «кратко», как этого и требовала комиссия, те злодеяния помещиков,

которые «превышали всякое вероятие». Намекнув на сотни дел, сокрытых в архивах, Раевский сослался на курского помещика Ширкова, который «зарезал девицу Алтухову и, заставляя с собой купаться девок, тут же, выйдя из воды, любодействовал с ними», а также на харьковского помещика Бедрягу, который «резал людей» («Ученые записки», с. 526). *Скажу вместе с неподражаемым Монтескье.* Среди бумаг, отобранных при аресте, находился конспект некоторых глав книги французского философа-просветителя Монтескье (1689—1755) «О духе законов». *Так, в царствование Александра.* Первоначально — «в царствование кроткого Александра», затем слово «кроткий» было густо перечеркнуто. В изъятии слова «кроткий» следователи Раевского увидели явное недоброжелательство к императору. Раевскому не оставалось ничего иного, как сказать: «Имя кроткого, полагаю, замарал какой-то подлый и презренный человек» («Новые материалы», с. 122).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

1. *Фронтиспис.* В. Ф. Раевский. С фотографии Л. М. Иваницкого. Харьков. 1869. Музей Института русской литературы АН СССР.

2. *С. 95.* Рисунки А. С. Пушкина на полях черновой рукописи незаконченного послания к В. Ф. Раевскому (1822). Рукописный отдел Института русской литературы АН СССР.

3. *С. 127.* Автограф начала стихотворения «Плач негра». ЦГВИА.

4. *С. 137.* Автограф конца «Элегии I» и начала «Элегии II». ЦГВИА.

5. *С. 138.* Автограф начала стихотворения «Смеюсь и плачу (Подражание Вольтеру)». ЦГВИА.

6. *Между с. 144 и 145.* В. Ф. Раевский. С фотографии 1863 г. Музей Института русской литературы АН СССР.

СОДЕРЖАНИЕ

ТЮРЕМНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ
1822—1824

СТИХОТВОРЕНИЯ ПЕРИОДА ССЫЛКИ
1828—1846

Раевский Владимир Федосеевич

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ

Л. О. изд-ва «Советский писатель»,
1967, 256 стр.
Тем. план вып. 1967, № 389

Редактор *В. С. Киселев*

Художник *И. С. Серов*
Худож. редактор *А. Ф. Третьякова*
Техн. редактор *В. Г. Комм*
Корректор *Ф. С. Флейтман*

Сдано в набор 17/XII 1966 г. Подписано в печать 23/III 1967 г. Бумага 84×108 1/32 № 1. Печ. л. 8 (13,65). Уч.-изд. л. 12,0. Тираж 10 000. Зак. № 1729. Цена 56 к.

Издательство «Советский писатель»,
Ленинградское отделение, Ленинград,
Невский пр., 28.

Ленинградская типография № 5 Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР, Красная ул., 1/3

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Стр.	Строка	Напечатано	Следует читать
60	13 сн.	Велишь	Велит
96	6 сн.	упоенье	укованье
154	11 сн.	ясный	явный
166	5 сн.	Мой	Мне
182	9 св.	людьми	с людьми

В. Ф. Раевский